

Б И Б Л И О Т Е К А

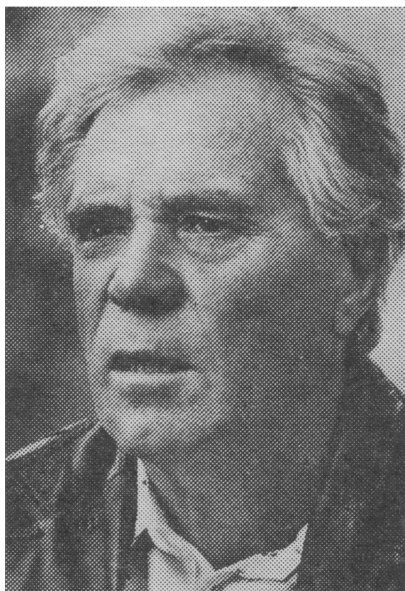
ISSN 0132-2095



ОГОНЁК

№ 26

1986



Виктор АСТАФЬЕВ

ПЕЧАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ

М О С К В А

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«П Р А В Д А»

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 26

Виктор АСТАФЬЕВ

ПЕЧАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ

РОМАН

Москва. Издательство «ПРАВДА»
1986

Виктор АСТАФЬЕВ

Виктор Петрович Астафьев родился в 1924 году в селе Овсянка, неподалеку от Красноярска. Бывший детдомовец. Рано начал трудовую жизнь. После окончания школы ФЗО работал составителем поездов на станции Базаиха Красноярской железной дороги и оттуда добровольцем ушел на фронт. На войне ранен. Имеет правительственные награды.

После Великой Отечественной войны работал слесарем, плотником, литейщиком, грузчиком, журналистом в городе Чусовом, на Урале. В 1958 году принят в члены Союза писателей СССР. В 1959—1961 годах учился на Высших литературных курсах в Москве, после которых жил в Перми, затем в Вологде. Сейчас живет и работает в Красноярске.

За произведения «Последний поклон», «Кража», «Пастух и пастушка» и «Царь-рыба» В. П. Астафьев удостоен Государственных премий РСФСР и СССР. Неоднократно избирался депутатом областных (Вологодского и Пермского) и Красноярского краевого Советов народных депутатов. На последнем съезде Союза писателей РСФСР избран секретарем правления.

Произведения В. П. Астафьева многократно издавались и переиздавались в братских советских республиках и за рубежом: во Франции, Швеции, Норвегии, Голландии, Японии, Китае, Финляндии, Польше, Чехословакии, Румынии, Венгрии, Болгарии, Монголии и других странах.

ПЕЧАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ

Глава первая

Леонид Сошнин возвращался домой в самом дурном расположении духа. И, хотя идти было далеко, почти на окраину города, в железнодорожный поселок, он не сел в автобус — пусть ноет раненая нога, зато ходьба его успокоит и он обдумает все, что ему говорили в издательстве, обдумает и рассудит, как ему дальше жить и что делать.

Собственно, издательства как такового в городе Вейске не было, от него осталось отделение, само же издательство перевели в город более крупный и, как, наверное, думалось ликвидаторам, более культурный, обладающий мощной полиграфической базой. Но «база» эта была такой же точно, как в Вейске, — дряхлое наследство старых русских городов. Типография располагалась в дореволюционном здании из крепкого бурого кирпича, прошитого решетками узких оконеч по низу и фасонно изогнутыми по верху, тоже узкими, но уже вознесенными ввысь вроде восклицательного знака. Половина здания вейской типографии, где были наборные цехи и печатные машины, давно уж провалилась в недра земли, и, хотя по потолку сплошными рядами лепились лампы дневного света, все равно в наборном и печатном цехах было неуютно, зябко и что-то все время, будто в заложенных ушах, сверчало или работал, закопанный в подземелье, взрывной механизм замедленного действия.

Отделение издательства ютилось в двух с половиной комнатах, со скрипом выделенных областной газетой. В одной из них, окутавшись сигаретным дымом, дергалось, елозило на стуле, хваталось за телефон, сорило пеплом местное культурное светило — Сыроквасова Октябрина Перфильевна, двигая вперед и дальше местную литературу. Сыроквасова считала себя самым сведущим человеком: если не во всей культуре страны, то в Вейске ей по интеллекту равных не было. Она делала доклады и отчеты о текущей литературе, делилась планами издательства через газету, иногда, в газетах же, и рецензировала книги здешних авторов, к месту и не к месту вставляя цитаты из

Вергилия и Данте, из Савонаролы, Спинозы, Рабле, Гегеля и Экзюпери, Канта и Эренбурга, Юрия Олеши, Трегуба и Ермилова, впрочем, и прах Эйнштейна с Луначарским иногда тревожила, вождей мирового пролетариата вниманием тоже не обходила.

Все уже давно с книгой Сошнина решено. Рассказы из нее напечатаны пусть и в тонких, но столичных журналах, разочка три их снисходительно упомянули в обзорных критических статьях, он пять лет простоял «в затылок», попал в план, утвердился в нем, осталось отредактировать и оформить книгу.

Назначив время делового свидания ровно в десять, Сыроквасова явилась в отделение издательства к двенадцати. Опахнув Сошнина табачищем, запыхавшаяся, она промчалась мимо него по темному коридору — лампочки кто-то «увел», хрипло бросила «Извините!» и долго хрустела ключом в неисправном замке, вполголоса ругаясь.

Наконец дверь рассерженно крякнула, и старая, плотно не притворяющаяся плита пустила в коридор щель серого, унылого света — на улице вторую неделю шел мелкий дождь, размывший снег в кашу, превративший в катушки улицы и переулки. На речке начался ледоход — в декабре-то!

Тупо и непрерывно ныла нога, жгло и сверлило плечо от недавней раны, долила усталость, тянуло в сон — ночью не спалось, и опять он спасался пером и бумагой. «Неизлечимая это болезнь — графоманство», — усмехнулся Сошнин и, кажется, задремал, но тут встряхнуло тишину стуком в гулкую стену.

— Галя! — с надменностью бросила в пространство Сыроквасова. — Позови ко мне этого гения!

Галя — машинистка, бухгалтер, да еще и секретарша. Сошнин осмотрелся — в коридоре больше никого не было, гений, стало быть, он.

— Эй! Где ты тут? — ногой приоткрыв дверь, высунула Галя коротко стриженную голову в коридор. — Иди. Зовут.

Сошнин передернул плечами, поправил на шее новый атласный галстук, пригладил набок ладонью волосы. В минуты волнения он всегда гладил себя по волосам — маленького его много и часто гладили соседки и тетя Лина, вот и приучился оглаживаться. «Спокойно! Спокойно!» — приказал себе Сошнин и, воспитанно кашлянув, спросил:

— Можно к вам? — Наметанным глазом бывшего оперативника он сразу все в кабинете Сыроквасовой охватил: старинная точеная этажерка в углу; надетая на точеную деревянную пику, горбатой висела мокрая, всем в городе примелькавшаяся рыжая шуба. У шубы не было вешалки. За шубой, на струганом, но некрашеном стеллаже расставлена литературная продукция объединенного издательства. На переднем плане красовались несколько совсем недурно оформленных рекламно-подарочных книг в ледериновых переплетах.

— Раздевайтесь, — кивнула Сыроквасова на старый желтый шкаф из толстого теса. — Там вешалок нет, вбиты гвозди. Садитесь, — указала она на стул напротив себя. И, когда Сошнин снял плащ, Октябрина Перфильевна с раздражением бросила перед собой папку, вынув ее чуть ли не из-под подола.

Сошнин едва узнал папку со своей рукописью — сложный творческий путь прошла она с тех пор, как сдал он ее в издательство. Взором опять же бывшего оперативника отметил он, что и чайник на нее ставили, и кошка на ней сидела, кто-то пролил на папку чай. Вундеркинды Сыроквасовой — у нее трое сыновей от разных творческих производителей — нарисовали на папке голубя мира, танк со звездой и самолет. Помнится, он нарочно подбирал и берег пестренькую папочку для первого своего сборника рассказов, беленькую наклейку в середине сделал, название, пусть и не очень оригинальное, аккуратно вывел фломастером: «Жизнь всего дороже». В ту пору у него были все основания утверждать это, и нес он в издательство папку с чувством не изведенного еще обновления в сердце и жажду жить, творить, быть полезным людям — так бывает со всеми людьми, воскресшими, выкарабкавшимися из «оттуда».

Беленькая наклейка сделалась за пять лет серенькой, кто-то поковырял ее ногтем, может, клей плохой был, но праздничное настроение и светлость в сердце — где все это? Он видел на столе небрежно хранимую рукопись с двумя рецензиями, на ходу написанными бойкими здешними пьяницами-мыслителями, подрабатывающими у Сыроквасовой и видевшими милицию, которая отражена была в его творчестве в этой вот пестренькой папке, чаще всего в медвытрезвителе. Сошнин знал, как дорого обходится всякой жизни, всякому обществу человеческая небрежность. Что-что, это усвоил. Накрепко. Навсегда.

— Ну-с, значит, дороже всего жизнь, — скривила губы Сыроквасова и затянулась сигареткой, окуталась дымом, быстро пролистывая рецензии, все повторяя и повторяя в раздумчивой отстраненности: — Дороже всего... дороже всего...

— Я так думал пять лет назад.

— Что вы сказали? — подняла голову Сыроквасова, и Сошнин увидел дряблые щеки, неряшливо засиненные веки, неряшливо же, сохлой краской, подведенные ресницы и брови — мелкие черные комочки застряли в уже очерствелых, полувылезших ресницах и бровях. Одета Сыроквасова в удобную одежду — этакую современную бабью спецовку: черную водолазку — не надо часто стирать, джинсовый сарафан поверху — не надо гладить.

— Я думал так пять лет назад, Октябрина Перфильевна.

— А сейчас так не думаете? — Язвительность так и сквозила в облике и словах Сыроквасовой, роющей в рукописи, словно в капустных отбросах. — Разочаровались в жизни?

— Еще не совсем.

— Вот как! Интересно-интересно! Похвально-похвально! Не совсем, значит?..

«Да она же забыла рукопись! Она же время выигрывает, чтоб хоть как-то, на ходу ознакомиться с нею вновь. Любопытно, как она будет выкручиваться? Очень любопытно!» — Сошнин ждал, не отвечая на последний полувопрос редакторши.

— Я думаю, разговора длинного у нас не получится. Да и ни к чему время тратить. Рукопись в плане. Я тут кое-что поправлю, приведу ваше сочинение в божий вид, отдам художнику. Летом, я полагаю, вы будете держать свое первое печатное детище в руках. Если, конечно, дадут бумагу, если в типографии ничего не стряется, если не сократят план и тэ-дэ, и тэ-пэ. Но я вот о чем хотела бы поговорить с вами, на будущее. Судя по прессе, вы упорно продолжаете работать, печатаетесь, хотя и не часто, но злободневно, да и тема-то у вас актуальная — ми-ли-цей-ская!

— Человеческая, Октябрина Перфильевна.

— Что вы сказали? Ваше право так думать. А если откровенно — до человеческих, тем более общечеловеческих, проблем вам еще ой как далеко! Как говорил Гете: «Унеррайхбар ви дер химмель». Высоко и недоступно, как небо.

Что-то не встречал Сошнин у великого немецкого поэта подобного высказывания. Видать, Сыроквасова в суетности жизни спутала Гете с кем-то или неточно его процитировала.

— Вы еще не усвоили толком, что такое фабула, а без нее, извините, ваши милицейские рассказы — мякина, мякина с обмолоченного зерна. — Понесло Сыроквасову в теорию литературы. — А уж ритм прозы, ее, так сказать, квинтэссенция — это за семью печатями. Есть еще форма, вечно обновляющаяся, подвижная форма...

— Что такое форма — я знаю.

— Что вы сказали? — очнулась Сыроквасова. При вдохновенной проповеди она закрыла глаза, насорила пепла на стекло, под которым красавился рисунок ее гениальных детей, мятая фотография заезжего поэта, повесившегося по пьянке в гостинице три года назад и по этой причине угодившего в модные, почти святые ряды преставившихся личностей. Пепел насорился на подол сарафана, на стул, на пол, да еще сарафан пепельного цвета, и вся Сыроквасова вроде бы засыпана пеплом или тленом времени и воспринималась, словно действующее лицо в телевизоре, где устарел кинескоп и не работало две лампы.

— Я сказал, что знаю форму. Носил ее.

— Я не милицейскую форму имела в виду.

— Не понял вашей тонкости. Извините.— Леонид поднялся, чувствуя, что его начинает захлестывать бешенство.— Если я вам более не нужен, позволю себе откланяться.

— Да-да, позволяйте,— чуть смешалась Сыроквасова и перешла на деловой тон: — Аванс вам в бухгалтерии выпишут. Сразу шестьдесят процентов. Но с деньгами у нас, как всегда, плохо.

— Спасибо. Я получаю пенсию. Мне хватает.

— Пенсию? В сорок лет?

— Мне сорок два, Октябрина Перфильевна.

— Какой это возраст для мужчины? — Как и всякое, вечно раздраженное существо женского рода, Сыроквасова спохватилась, завалила хвостом, пробовала сменить язвительность тона на полушутливую доверительность.

Но Сошнин не принял перемен в ее тоне, раскланялся, выбрал в полутемный коридор.

— Я подержу дверь открытой, чтобы вы не убились! — крикнула вслед Сыроквасова.

Сошнин ей не ответил, вышел на крыльцо, постоял под козырьком, украшенным по ободку старинными деревянными кружевами. Искрошены они скужающими рукосями, будто ржаные пряники. Подняв воротник утепленного милицейского плаща, Леонид втянул голову в плечи и шагнул под бесшумную наволочь, словно в провальную пустыню. Он зашел в местный бар, где постоянные клиенты встретили его одобрительным гулом, пробовали завязать «беседы», взял рюмку коньяку, выпил ее махом и вышел вон, чувствуя, как черствеет во рту и теплеет в груди. Жжение в плече как бы стиралось теплотою, ну, а к боли в ноге он как будто привык, пожалуй что, просто примирился с нею.

«Может, еще выпить? Нет, не надо,— решил он,— давно не занимался этим делом, еще захмелею...»

Он шел по родному городу, из-под козырька мокрой кепки, как приучила служба, привычно отмечал, что делалось вокруг, что стояло, шло, ехало. Ехало мало, а много стояло, шло настороженно. Гололедица притормозила не только движение, но и самое жизнь. Люди сидели по домам, работать предпочитали под крышей, сверху лило, хлюпало всюду, текло, вода бежала не ручьями, не речками, как-то бесцветно, сплошно, плоско, неорганизованно: лежала, кружилась, переливалась из лужи в лужу, из щели в щель. Всюду обнажился прикрытый было мусор: бумага, окурки, раскисшие коробки, трепыхающийся на ветру целлофан. На черных липах, на серых тополях лепились вороны и галки, их шевелило, иную птицу роняло ветром, и она тут же слепо и тяжело цеплялась за ветку, сонно, со старческим ворчаньем мостилась на нее и, словно подавившись косточкой, клекнув, смолкала.

И мысли Сошнина под стать погоде, медленно, загустело едва шевелились в голове, не текли, не бежали, а вот именно шевелились, и в этом шевелении ни света дальнего, ни мечты, одна лишь тревога, одна забота — как дальше жить?

Ему было совершенно ясно — в милиции он отслужил, отвоёвался. Навсегда! Привычная линия, накатанная, однокорейная — истребляй зло, борись с преступниками, обеспечивай покой людям — разом, как железнодорожный тупик, возле которого он вырос и отыграл детство свое «в железнодорожника», оборвалась. Рельсы кончились, шпалы, их связующие, кончились, дальше никакого направления, никакого пути нет, дальше вся земля, сразу, за тупиком,— иди во все стороны, или вертись на месте, или сядь на последнюю в тупике, истрекавшуюся от времени, уже и не липкую от пропитки, выветренную шпалу и, погрузившись в раздумье, дремли или ори во весь голос: «Сяду я за стол да подумаю, как на свете жить одному...»

Как на свете жить? Одному? Трудно на свете жить без привычной службы, без работы, даже без казенной амуниции и столовой, надо даже об одежке и еде хлопотать, где-то стирать, гладить, варить, посуду мыть.

Но не это, не это главное, главное — как быть да жить среди народа, который делился долгое время на преступный мир и не-преступный мир. Преступный, он все же привычен и однолик, а этот? Каков он в пестроте своей, в скопище, суе и постоянном движении? Куда? Зачем? Какие у него намерения? Каков норв? «Братцы! Возьмите меня! Пустите к себе!» — хотелось закричать Сошнину сперва вроде бы в шутку, поерничать привычно, да вот закончилась игра. И обнаружила, подступила вплотную житуха, будни ее, ах, какие они, будни-то, у людей будничные.

Сошнин хотел зайти на рынок, купить яблок, но возле ворот рынка с перекосившимися фанерными буквами на дуге «Добро пожаловать» корячилась и привязывалась к прохожим пьяная женщина по прозвищу «Урна». За беззубый, черный и грязный рот получила прозвище, уже и не женщина, какое-то обособленное существо, со слепой, полубезумной тягой к пьянству и безобразиям. Была у нее семья, муж, дети, пела она в самодеятельности железнодорожного ДК под Мордасову — все пропила, все потеряла, сделалась позорной достопримечательностью города Вейска. В милицию ее уже не брали, даже в приемнике-распределителе УВД, который в народе зовется «бичевником», а в старые грубые времена звался тюрьмой для бродяг, не держали, из вырезвителя гнали, в дом престарелых не принимали, потому что она была старой лишь на вид. Вела она себя в общественных местах срамно, стыдно, с наглым и мстительным ко всем вызовом. С Урной невозможно и нечем бороться, она, хоть и валялась на улице, спала по чердакам и на скамейках, не умирала и не замерзала.

хрипло орала Урна, и моросью, стылой пространственностью не вбирало ее голоса, природа как бы отделяла, отталкивала от себя свое исчадьё. Сошнин прошел рынок и Урну стороной. Все так же текло, плыло, сочилось мозглой пустотой по земле, по небу, и не было конца серому свету, серой земле, серой тоске. И вдруг посреди этой беспросветной, серой планеты произошло оживление, послышались говор, смех, на перекрестке испуганно кхекнула машина.

По широкой, осенью лишь размеченной улице, точнее, по проспекту Мира, по самой его середке, по белым пунктирам разметки неспешно следовала пегая лошадь с хомутом на шее, изредка охлестываясь мокрым, форсисто постриженным хвостом. Лошадь знала правила движения и цокала подковами, как модница импортными сапожками, по самой что ни на есть нейтральной полосе. И сама лошадь и сбруя на ней были прибраны, ухожены, животное совершенно не обращало ни на кого и ни на что внимания, неспешно топая по своим делам.

Народ единодушно провожал лошадь глазами, светлел лицами, улыбался, сыпал вслед коняге реплики: «Наладила от скупого хозяина!», «Сама пошла сдаваться на колбасу», «Н-не, в вытрезвитель — там теплей, нежели в конюшне», «Ничего подобного! Идет докладывать супружнице Лаври-казака насчет его местонахождения...»

Сошнин тоже заулыбался из-под воротника, проводил лошадь взглядом — она шла по направлению к пивзаводу. Там ее конюшня. Хозяин ее, коновозчик пивзавода Лавря Казаков, в народе — Лавря-казак, старый гвардеец из корпуса генерала Белова, кавалер трех орденов Славы и еще многих боевых орденов и медалей, развез по «точкам» сидро и прочие безалкогольные напитки, подзасел с мужичками на постоянной «точке» — в буфете Сазонтьевской бани — потолковать о прошлых боевых походах, о современных городских порядках, про лютость баб и бесхарактерность мужиков, лошадь же разумную свою, чтоб не мокло и не дрогло животное под небом, пустил своим ходом на пивзавод. Вся вейская милиция, да и не только она, все коренные жители Вейска знали: где стоит пивзаводская телега, там ведет беседы и отдыхает Лавря-казак. А лошадь у него ученая, самостоятельная, все понимает и пропасть себе не даст.

Вот уж и сместилось что-то в душе, и погода дурная не так уж гнетуща, порешил Сошнин, привыкнуть пора — родился здесь, в гнилом углу России. А посещение издательства? Разговор с Сырковасовой? Да шут с ней! Ну, дура! Ну, уберут ее когда-нибудь. Книжка ж и в самом деле не ахти — первая, наивная, шибко замученная подражательностью, да и устарела она за пять лет. Следующую надо делать лучше, чтобы издавать помимо Сырковасовой; может, и в самой Москве...

Сошнин купил в гастрономе батон, банку болгарского компота, бутылку молока, курицу, если это скорбно зажмуренное, иссиня-голое существо, прямо из шеи которого длинно, когтисто торчало много лап, можно назвать курицей. Но цена прямо-таки гусиная! Однако и это не предмет для досады. Супу вермишельного сварит, хлебнет горяченького и, глядишь, после сытного обеда по закону Архимеда, под монотонную капель из батареи, под стук старых настенных часов — не забыть бы завести, под шлепанье дождя полтора-два часа почитает всласть, потом соснет, и на всю ночь за стол — творить. Ну, творить — не творить, но все же жить в каком-то обособленном, своим воображением созданным мире.

Жил Сошнин в новом железнодорожном микрорайоне, но в старом двухэтажном деревянном доме под номером семь, который забыли снести, после забытые узаконили, подцепили дом к магистрали с теплой водой, к газу, к сточным трубам — построенный в тридцатых годах по нехитрому архитектурному проекту, с внутренней лестницей, делящей дом надвое, с острым шалашиком над входом, где была когда-то застекленная рама, чуть желтый по наружным стенам и бурый по крыше дом скромно жмурился и покорно уходил в землю между глухими торцами двух панельных сооружений. Достопримечательность, путевая вежа, память детства и добрый приют людей. Жители современного микрорайона ориентировали приезжих людей и себя по нему, деревянному пролетарскому строению: «Как пойдешь мимо желтого домика...»

Сошнин любил родной свой дом или жалел — не понять. Наверное, и любил, и жалел, потому что в нем вырос и никаких других домов не знал, нигде, кроме общежитий, не жывал. Отец его воевал в кавалерии и тоже в корпусе Белова, вместе с Лаврей-казаком. Лавря — рядовым, отец — комвзвода. С войны отец не вернулся, погиб во время рейда кавкорпуса по тылам врага. Мать работала в технической конторе станции Вейск, в большой, плоской, полутемной комнате, и жила вместе с сестрой в этом вот домике, в квартире номер четыре, на втором этаже. Квартира состояла из двух квадратных комнаток и кухни. Два окна одной комнатки выходили на железнодорожную линию, два окна другой комнатки — во двор. Квартиру когда-то дали молодой семье железнодорожников, сестра мамы его, Сошнина тетка, приехала из деревни водиться с ним, он ее помнил и знал больше матери оттого, что в войну всех конторских часто наряжали разгружать вагоны, на снегоборьбу, на уборку урожая в колхозы, дома мать бывала редко, за войну надорвалась, на исходе войны тяжело простудилась, заболела и умерла.

Они остались вдвоем с теткой Липой, которую Леня, ошибившись еще в раннем возрасте, назвал Линой, да так Линой она и закрепилась в его памяти. Тетка Лина пошла по стопам сестры и заняла ее место в технической конторе. Жили они, как и все честные люди их поселка,

вали от того, что молодой парень с бакенбардами сидит целый день в машине и ждет рыбаков. «Ты бы хоть почитал, Ваня, журналы, газеты или книгу». «А че их читать-то? Че от их толку?» — скажет Ваня, сладко зевнет и платонически передернется.

Вон и дядя Паша. Он всегда метет. И скребет. Снегу нет, смыло, так он воду метет, за ворота увэдэвского двора ее выгоняет, на улицу. Мести и долбить — это не самоглавнейшее для дяди Паши действие. Был он совершенно помешанным рыбаком и болельщиком хоккея, дворником пошел ради достижения своей цели: человек не пьющий, но выпивающий, на хоккей и на рыбалку дядя Паша, чтобы не разорять пенсию, не рвать ее на части, прирабатывал дворничкой метлой — на «свои расходы», пенсию же отдавал в надежные руки жены. Та с расчетом и выговором выдавала ему «воскресные»: «Ето тебе, Паша, пятерик на рыбалку, ето тебе трояк — на коккей твой клятый».

В УВД держалось еще несколько лошадей и маленькая конюшня, которую ведал дяди Пашин друг, старец Аристарх Капустин. Вдвоем они подкопали родную милицию, дошли до горячих труб, до теплоцентрали, проложенной в здание УВД, навалили на эти трубы конского назьма, земли, перегноя, замаскировали сверху плитами шифера — и таких червей плодили круглый год в подкопе, что за наживку их брали на любой транспорт, даже начальственный. С начальством дядя Паша и старец Аристарх Капустин ездить не любили. Они уставали от начальства и от жен в повседневной жизни, хотели на природе быть совершенно свободными, отдохнуть, забыться от тех и от других.

Старики выходили в четыре часа на улицу, становились на перекрестке, опершись на пешни, и скоро машина, чаще всего кузовная, накрытая брезентом или ящиком из фанеры, притормаживала и как бы слизывала их с асфальта, — чьи-то руки подхватывали стариков, совали их за спины, в гущу народа. «А-а, Паша! А-а, Аристаша! Живы еще?» — раздавались возгласы, и с этого момента бывалые рыбаки, попав в родную стихию, распускались телом и душой, говорили о «своём» и со «своими».

У дяди Паши вся правая кисть была в белых шрамах, и к этим дяди Пашиным шрамам рыбаки, да и не только рыбаки, но и остальная общественность города относились, быть может, почтительней, чем к его боевым ранениям.

Массовый рыбак подвержен психозу, он волнами плещется по водоему, долбит, вертит, ругается, вспоминает прежние рыбалки, клянет прогресс, погубивший рыбу, сожалеет о том, что не поехал на другой водоем.

Не такой рыбак дядя Паша. Он припадет к одному местечку и ждет милостей от природы, хотя и мастер в рыбалке не последний, художбно, на ущицу всегда привозит, случалось, и полную шарманку — ящик, мешок и рубаху нижнюю, по рукавам ее завязавши, набивал рыбой дядя Паша — все тогда управление уху хлебало, особенно

низовой аппарат, — всех наделял рыбой дядя Паша. Старец Аристарх Капустин, тот поприжимистей, тот рыбку вялил меж рам в своей квартире, затем, набивши карманы сушенкой, являлся в буфет Сазонтьевской бани, стучал рыбкой по столу — и всегда находились охотники потискать зубами соленькое и поили старца Аристарха Капустина дармовым пивом.

Про дядю Пашу рассказывали каверзную небыль, которой он и сам, однако, одобрительно посмеивался. Будто припал он к лунке, но всякий мимо проходящий рыбак пристаёт: «Как клев?» Молчит дядя Паша, не отвечает. Его тормозат и тормозат! Не выдержал дядя Паша, выплюнул из-за щеки живых червяков и заругался: «Всю наживку с вами заморозишь!..»

Верного связчика его, старца Аристарха Капустина, одной весной подхватила прихоть поиска — вечером хлынула большая втекающая в Светлое озеро река, поломала, наторосила лед, мутной, кормной волной подпяттила рыбу к середине озера. Сказывали, с вечера, почти в темноте уже, начал братъ с а м — матерый судак, и местные рыбаки крепко обрыбились. Но к утру граница мутной воды сместилась и куда-то, еще дальше отпятилась рыба. А куда? Озеро Светлое в ширину пятнадцать верст, в длину — семьдесят. Шипел на связчика Аристарха Капустина дядя Паша: «Нишкини! Сиди! Тута она будет...» Но где там! Лукавый понес старца Аристарха Капустина, как метляка, по озеру.

Полдня злился на Аристарха Капустина дядя Паша, дергал удочками сорожонку, случался крепенький окунек, два раза на ходу цеплялась за рыбешку и рвала лески щучонка. Дядя Паша спустил под лед блесну, подразнил щучонку и вывернул ее наверх — не балуй! Вон она, хищница подводного мира, плещется на внешнем льду, аж брызги летят, в пасти у нее обрывки тонких лесок с мормышками, словно вставными, блестящими зубами украшена наглая пасть. Дядя Паша не вынает мормышки, пусть попомнит, фулюганка, как разорять малоимущих рыбаков!

К полудню из разверстых врат притихшего монастыря с хотя и обветшалыми, но нетленными башенками, имеющего у въезда скромную вывеску «Школа-интернат», вышли и притащились на озеро два отрока, два братца, Антон и Санька, девяти и двенадцати лет. «Сбегли они с последних уроков», — догадался дядя Паша, но не осудил мальцов — учиться им еще долго, может, всю жизнь, весенняя же рыбалка — праздничная пора, мелькнет — не заметишь. Большую в тот день драму пережили вместе с дядей Пашей отроки. Только-только уселись парни подле удочек, как у одного из них взялась и сошла уже в лунке крупная рыбина. Сошла у младшенького, он горько заплакал. «Ничего, ничего, парняга, — напряженным шепотом утешал его дядя Паша, — будет наша! Никуда не денется! На тебе конфетку и ишшо крендель городской, с маком».

Дядя Паша все предчувствовал и рассчитал: к полудню к мутной воде, где кормится планктоном снеток и другая мелкая рыбешка, в озеро еще дальше протолкнется река, пронесет муть и подвалит на охоту крупный «хычник». Отряды рыбаков, зверски бухающие пешнями, грохающие сапогами, оглашающие окрестности матом, ее, пугливую и чуткую рыбу, не переносящую отборного мата, отгонят в «нейтральную полосу», стало быть, сюда вот, где вместе с отроками с самого раннего утра, не сказав — ни единого! — бранного слова, терпит и ждет ее дядя Паша.

И расчет его стратегический полностью подтвердился, терпение его и скромность в выражениях были вознаграждены: три судака весом по кило лежали на льду и скорбно глазели в небо оловянными зрачками. Да еще самые, конечно, крупные два судака сошли! Но кто радовал независтливое сердце дяди Паши, так это малые рыбаки — отроки Антон и Санька. Они тоже достали по два судака на свои утильные, из ружейного патрона склепанные блесны. Младшенький кричал, смеялся, снова и снова рассказывал о том, как клюнуло, как он попер!.. Дядя Паша растроганно его поощрял: «Ну вот! А ты — плакать? В жизни завсегда так: то клюет, то не клюет...»

Тут и случилось такое, что в смятение ввело не только рыбаков, но почти все приозерное население, да и часть города Вейска сотрясло героическое событие.

Снедаемый сатаной, рыбацким ли дьяволом, дядя Паша, чтоб не стучать пешней, сдвинулся на ребячьи лунки, просверленные ледобуром. И только опустил свою знаменитую, под снетка излаженную блесну, как ее пробным толчком щипнуло, затем долбануло, да так, что он — уж какой опытный рыбак! — едва удержал в руке удочку! Долбануло, надавило, повело в глыбь озерных вод.

Судачина на семь килограммов и пятьдесят семь граммов — это было потом с аптекарской точностью вывешано — застрял в узкой лунке. Дядя Паша, плюхнувшись на брюхо, сунул руку в лунку и зажал рыбину под жабры. «Бей!» — скомандовал он отрокам, мотая головой на пешню. Старший отрок прыгнул, схватил пешню, замahнулся и замер: как «бей»?! А рука? И тогда закаленный фронтовик, бешено вращая глазами, гаркнул: «А как на войне!» — и бедовый парнишка, заранее вспотев, начал раздалбливать лунку.

Скоро лунку прошло красными ниточками крови. «Вправо! Влево! В заступ! В заступ бери! В заступ! Леску не обрежь...» — командовал дядя Паша. Полная лунка крови была, когда дядя Паша вынул из воды и бросил на лед уже вялое тело рыбины. И тут же, взбрыкнув кореженными ревматизмом ногами, заплясал, заорал дядя Паша, да скоро опомнился и, чакая зубами, отворил шарманку, сунул ребятам флагу с водкой, приказал растирать занемелую руку, обезвреживать раны.

Два подряд дня во дворе УВД шла демонстрация, в центре которой

перевязанный дядя Паша разводил руками, тряс, дергал, выводил, бросал, орал, прыгал, пел. Сошнин, глядя на все это в окошко, сожалел, что не владеет камерой, — это было бы величайшее кино!

На третий день начальник хозчасти отправил дядю Пашу в санупр, где рыбаку дали бюллетень с пометкой «Бытовая травма», то есть неоплачиваемый. Ну, тут уж все сотрудники поднялись в защиту героя, звонили в санупр, в облздрав — и добились справедливости: «бытовая» травма была переправлена на «боевую».

Коммерческий отдел пересудили и пересадили разом. Тетя Лина травилась. Ее спасли и после суда отправили в исправительно-трудовую колонию. Срок ей дали короткий, но мук и позора тетка и Леня вместе с ней пережили много. Он уже учился в областной спецшколе УВД, тетка настояла: «Обмундирование бесплатное, питание, догляд и работа в защиту справедливости...». Она чувствовала, догадался он потом, что ей несдобровать, и хотела устроить дитяtku попрочнее. Из спецшколы Сошнина чуть было не помели. Конторские служащие, жители седьмого и соседних домов, на глазах которых он рос, но главное, однополчанин и друг отца Лавря-казак походатайствовали за него. Лавря-казак подстригся, наодеколонился, почистил штилеты, обрядился в новый костюм, к борту коего прицепил ордена Славы и еще два ряда орденов, и во всем параде двинул к началнику областного управления внутренних дел, где имел долгую беседу.

Потом Лавря-казак запряг свою верную лошаdку, и они вдвоем с Леней ездили «на торф» — попроведаь тетю Лину. Она бухнулась на колени перед боевым фронтовиком, и племянник ее, будущий страж порядка, отвернувшись, глотал слезы и клялся про себя беспощадно бороться с преступностью, особо с теми, кто совращает, сбивает с пути невинных людей, калечит им судьбы и души.

Тетю Лину освободили по амнистии. Она поступила работать в химчистку, прирабатывала дома стиркой и все жалась по углам, старалась днем не показываться на люди, говорила тихо, и когда умерла, то Лене казалось: и в домовине она старалась сжаться, прятала от людей глаза и руки, изъеденные химикалиями и мылом, под ластами кружевной черной накидки.

Еще до кончины тети Лины Сошнин окончил спецшколу, поработал в отдаленном Хайловском районе участковым, оттуда и привез жену. Тетя Лина успела маленько порадоваться Лениному устройству, понянчилась с его дочкой Светой, которую считала внучкой, и, когда стала умирать, все сожалела, что не успела дотянуть внучку до школы, не поставила ее на крепкие ноги, мало, совсем мало помогла молодым.

Ах, эти молодые — удалые!.. гривачи мои... Хорошо бы для них сделать отступление в самой гуманной конституции, отдельным указом ввести порку: молодого принародно, среди широкой площади порола бы молодая, а молодую — молодой...

После смерти тети Лины перешли Сошнины небольшой и совсем не спаянной ячейкой на руки другой, не менее надежной тетке по имени Граня, по фамилии Мезенцева, которая никакой теткой Сошнинных не доводилась, а являлась родней всех угнетенных и осиротевших возле железной дороги народов, нуждающихся в догляде, участии и трудоустройстве.

Тетя Граня работала стрелочницей на маневровой горке и прилегающих к ней путях. Стрелочная будка стояла почти на выносе со станции, на задах ее. Был тут построенный и давно покинутый тупик с двумя деревянными тумбами, заросший бурьяном. Лежало под откосом несколько ржавых колесных пар, скелет двухосного вагона, кем-то и когда-то разгруженный штабель круглого леса, который тетка Граня никому не рассказывала и не давала и много лет, пока лес не подгнил, ждала потребителя, да, так и не дождавшись, стала ножовкой отпиливать от бревен короткие чурбаки, и ребята, стадом обретавшиеся возле стрелочного поста, на этих чурбаках сидели, катались, строили из них паровоз.

Никогда не имевшая своих детей, тетя Граня и не обладала научными способностями детского воспитателя. Она детей просто любила, никого не выделяла, никого не била, не ругала, обращалась с ребятами как с взрослыми, угадывала и укрощала их нравы и характеры, не прилагая к тому никаких талантов, тонкостей педагогического характера, на которых так долго настаивает нравоучительная современная печать. Возле тети Грани просто росли мужики и бабы, набирались сил, железнодорожного опыта, смекалки, проходили трудовую закалку. Закуток со стрелочной будкой многим ребятам, в том числе и Лене Сошнину, был и детсадом, и площадкой для игр, и школой труда, кому и дом родной заменял. Здесь царил дух трудолюбия и братства. Будущие граждане советской державы с самой большой протяженностью железных дорог, не способные еще к самой ответственной на транспорте движущей работе, заколачивали костыли, стелили шпалы, свинчивали и развинчивали в тупике гайки, гребли горстями насыпь полотна. «Движенцы» махали флажком, дудели в дудку, помогали тете Гране перебрасывать стрелочный балансир, таскать и устанавливать на путях тормозные башмаки, вели учет железнодорожного инвентаря, мели возле будки землю, летами садили и поливали цветки-ноготки, красные маки и живучие маргаритки. Совсем малых, марающих пеленки и не способных еще к строгой железнодорожной дисциплине и труду, тетя Граня не принимала на работу, не было у нее в будке для них условий.

Муж тети Грани, Чича Мезенцев (откуда, почему взялось такое имя — Сошнин так никогда и не дознался), работал кочегаром при железнодорожном Доме культуры, из кочегарки вылезал на революционные праздники да еще на рождество, пасху и Воздвижение, поскольку где-то в воздвиженские сроки у Чичи был день рождения.

Тетя Граня работала через сутки по двенадцать часов, с двумя выходными в конце недели, как движенец и, стало быть, ответственный на железной дороге человек. Она уносила мужу в кочегарку на сутки еду и пол-литра водки.

По городу Вейску ходил анекдот, пущенный опять же Лаврей-казакон: будто Чича до того закоптелся, что спутал зиму с летом. К нему, в жаркое подземелье, спустилась запыленная делегация самодеятельного местного балета: «Чича! Туды-т-твою, растуды! Какой месяц на дворе?» «Хвевраль навроде...» «Да июнь, конец июня! А ты жарись и жарись! Аж партнерши из рук высклизают».

Леня, как и все парни желдорпоселка, готовился в машинисты, ел с братвой печеную картошку, «горькие яблоки», то есть лук с солью, пил дешевый малиновый чай прямо из горлышка тети Граниного медного чайника — ему нравилось пить из чайника, и досе с той привычкой — пить чай из рожка — он не расставался, что также приводило к конфликтам в семье.

Однажды остыли батареи в железнодорожном Доме культуры, и труба, коптившая небо и парк культуры и отдыха, что был по соседству с ним, резко обозначилась на фоне известкой беленой тыльной стены Дома культуры, стыдно обнажилась задняя часть помещения, будто изработанная костлявая женщина разболочлась на сочинском курортном берегу. Что-то неладное случилось в округе, какая-то привычная деталь выпала из пейзажа города Вейска. Дым над трубой истончился и, наконец, перестал сочиться совсем, иссяк Чича — пал на «боевом посту», как писалось в железнодорожной газете «Сталинская путевка», в заметке «Беззаветный труженик». Из заметки люди узнали, что был когда-то Чича красным партизаном, имел боевой орден и трудовой значок отличия «Ударнику труда», заработанный в кочегарке.

После похорон Чичи тетя Граня какое-то время пребывала в полусне, ходила медленно, в грязных спецодежных ботинках, глаза свои яркие, черные, в которых даже зрачков не было видно, затеняла деревенским платочком, надеваемым наперекор железнодорожным правилам даже на работе. Машинисты, составители поездов, сцепщики и кондукторы, уважая человеческую скорбь, не указывали ей на нарушение.

Но не ходит беда одна. С катящейся по маневровой горке платформы вылетела плохо закрепленная горбылина и ударила тетю Граню по голове. Слышал бы тот разгильдяй и пьяница, что неряшливо закрутил проволоку, крепя пиломатериал на платформе, детский крик в закоулке станции Вейск, видел бы, как артелька малышей детского возраста пыталась стащить с рельсов окровавленную женщину, — он бы всю жизнь замаливал грехи, сам справлял бы дело как следует и другим наказал бы работать ладом.

Тетя Граня вышла из больницы, по-куричьи косо держа голову, зрение у нее «сяло и двоилось», для работы на железной дороге, тем более самой ответственной, движенческой, она сделалась негодной.

На сбережения, оставшиеся от мужа, который никуда и ни на что свою зарплату не расходовал, купила тетя Граня в железнодорожном поселке маленький домик с пристройкой во дворе. Домик стоял сразу же за тупиком, возле которого работала когда-то тетя Граня, и давно уж его подсмотрела у станционного плотника, мечтавшего податься на золотые прииски аж в Магадан.

В доме тети Грани скоро появилась живность: подрезанная на путях собака Варька, ворона с перебитым крылом — Марфа, петух с выбитым глазом — Ундер, бесхвостая кошка Улька. Перед самой войной тетя Граня привезла в вагоне из родной вятской деревни нетель и попросила племянника, сочинявшего стишки подзаборного и походного свойства, и его приятелей придумать название симпатичной скотине. Ничего путного шпана железнодорожного поселка придумать не могла, одни только неприличные прозвища лезли ей в голову, и осталась нетель с именем родного села — Варакушкой, с ним в коровы перешла да и век свой достославный изжила.

В войну тетя Граня жила коровой. С утра до вечера она таскала с лесопилки в узлом завязанном куске холстины желтые опилки на подстилку корове, жала бурьян по обочинам дороги и траву по берегам реки Вейки. Нигде никакого покоса у нее не было, и все-таки она запасала сена на всю зиму. Варакушка ее всегда доилась отменно, была ласковой, все понимающей, можно сказать, патриотической коровой. Большую часть удоя тетя Граня уносила в ближайший госпиталь — раненым, поила молоком ребятишек, теперь уж в домике ее все так же густо обретающихся. Брала у тети Грани молоко соседи — железнодорожники, а также эвакуированные. На вырученные за молоко деньги тетя Граня выкупала по карточкам хлеб и молотильный сбой или мякину в ближайшем колхозе — для поила корове. Теляток от Варакушки, дорастив до того, чтоб можно было отнять их от матери, тетя Граня за веревочку вводила в госпиталь. После войны и ликвидации госпиталя она какое-то время носила молоко в железнодорожную больницу, после и корову туда отвела — начали сдавать ноги, раздуло суставы на руках, силы покидали тетю Граню, и самое ее увезли в железнодорожную больницу. Чуть там отлежавшись, тетя Граня принялась мыть туалеты и коридоры, латать и гладить больничное белье — и осталась нянкой в детском отделении больницы. Когда и кому продала она свой домик возле тупика или его сломали, расширяя маневровую площадь станции, Леонид не знал, он в ту пору работал в Хайловске, увлекся службой, спортом, женщиной да и подзабыл про тетю Граню.

Глава вторая

Однажды, это уж после возвращения из Хайловска, Сошнин дежурил с нарядом ЛОМа — линейной милиции — за железнодорожным мостом, где шло массовое гулянье по случаю Дня железнодорожника. Скошенные загородные луга, пожелтевшие ивняки, побагровелые черемухи да кустарники, уютно опушившие старицу Вейки, во дни гуляний, или, как их тут именовали, «питников» (надо понимать — пикников), загаживали, ближние деревья сжигали в кострах. Иногда, от возбуждения мысли, подпаливали стога сена и радовались большому пламени, разбрасывали банки, тряпки, набивали стекла, сорили бумагой, обертками фольги, полиэтилена — привычные картины культурно-массового разгула на «лоне природы».

Дежурство выдалось не очень хлопотное. Против других веселящихся отрядов, скажем, металлургов или шахтеров, железнодорожники, издавна знающие высокую себе цену, вели себя степенней, гуляли семейно, если кто задирался из захожих, помогали его уговорить и спрятать от милиции, чтоб не увезли в вытрезвитель.

Глядь-поглядь, от ближнего озера, из кустов идет женщина в разодранном ситцевом платье, косынку за угол по отаве тащит, волосья у нее сбиты, растрепаны, чулки упали на щиколотки, парусиновые туфли в грязи, да и сама женщина, чем-то очень и очень знакомая, вся в зеленоватой грязной тине.

— Тетя Граня! — бросился навстречу женщине Леонид. — Тетя Граня! Что с тобой?

Тетя Граня рухнула наземь, обхватила Леонида за сапоги:

— Ой, страм! Ой, страм! Ой, страм-то какой!..

— Да что такое? Что? — уже догадываясь, в чем дело, но не желая этому верить, тряс тетю Граню Сошнин.

Тетя Граня села на отаву, огляделась, подобрала платье на груди, потянула чулок на колено и, глядя в сторону, уже без рева, с давним соглашением на страдание, тускло произнесла:

— Да вот... снасиловали за что-то...

— Кто? Где? — оторопело, шепотом — сломался, куда-то делся голос — переспрашивал Сошнин. — Кто? Где? — И закачался, застонал, сорвался, побежал к кустам, на бегу расстегивая кобуру. — Перестр-р-реля-а-аю-у-у!

Напарник по патрулю догнал Леонида, с трудом выдрал из его руки пистолет, который он никак не мог взвести срывающимися пальцами.

— Ты что? Ты что-о-о?!

Четверо молодых спали накрест в размиченной грязи заросшей старицы, среди ломаных и растоптанных кустов смородины, на которых чернели недоосыпавшиеся в затени, спелые ягоды, так

похожие на глаза тети Грани. Втоптаный в грязь, синел каемкой носовой платок тети Грани — она и тетя Лина еще с деревенской юности обвязывали платочки крючком, всегда одинаковой синенькой каемочкой.

Четверо молодцов не могли потом вспомнить: где были, с кем пили, что делали? Все четверо плакали в голос на следствии, просили их простить, все четверо рыдали, когда судья железнодорожного района Бекетова — справедливая баба, особенно суровая к насильникам и грабителям, потому как под оккупацией в Белоруссии еще дитем насмотрелась и натерпелась от разгула иноземных насильников и грабителей, — ввалила всем четверым сладострастникам по восемь лет строгого режима.

После суда тетя Граня куда-то запропала, видно, и на улицу-то стыдилась выходить.

Леонид отыскал ее в больнице.

Живет в сторожке. Беленько тут, уютно, как в той незабвенной стрелочной будке. Посуда, чайничек, занавески, цветок «ванька мокрый» алел на окне, геранька догорала. Не пригласила тетя Граня пройти Леонида к столу, точнее, к большой тумбочке, сидела, поджав губы, глядя в пол, бледная осунувшаяся, ладошки меж колен.

— Неладно мы с тобой, Леонид, сделали, — наконец, подняла она свои, не к месту и не к разу так ярко светящиеся глаза, и он подобрался, замер в себе — полным именем она называла его только в минуты строгого и непрощающего отчуждения, а так-то он всю жизнь для нее — Ляня.

— Чего неладно?

— Четыре молодые жизни погубили... Такие срока им не выдержать. Выдержат — уж седыми мушшнынами сделаются... А у их, у двоих-то, у Генки и у Васьки, — дети... Один-от у Генки уж после суда народился...

— Те-о-отя Граня! Те-о-о-отя! Граня! Они надругались над тобой... Над-ру-га-лись! Над сединами над твоими...

— Ну дак че теперь? Убыло меня? Ну, поревела бы... Обидно, конечно. Да разве мне привыкать? Чича, бывало, свалит в кочегарке... Ты извини, что про такое говорю. Ты уж большой. Милиционером служишь, всякого сраму по норки нахлебался и нанюхался, небось... Чиче не дашься — физкультуру делает. Схватит лопату и ну меня вокруг кочегарки гонять... Эти поганцы... обмуслякали, в грязе изваляли... отстиралась бы...

И стали они избегать, бояться друг друга. Но как избежишь-то насовсем в таком городке, как Вейск? Здесь жизнь идет по кругу, по тесному. Задолго еще до того, как увидеть друг друга, они чувствовали неизбежность встречи. Внутри у Леонида не то чтобы все обрывалось, в нем все скатывалось в одну кучу, в одно место, останавливалось под

грудью, в тесном разложье, он еще задаль расплывался в улыбке, и, чувствуя ее неуместность и нелепость, не в силах был совладать со своим ртом, убрать улыбку с лица, сомкнуть губы — она была и защитной маской, и оправдательным документом, приклеенным к лицу, словно инвентарная печать, приляпанная ляписом на заду казенных подштанников. Поймав его взгляд, тетя Граня опускала глаза и бочком, бочком проскальзывала мимо, в сером старом железнодорожном берете, с невылинявшей отметкой ключа и молота, в старой железнодорожной шинели, в стоптанных башмаках. Все это, догадывался Леонид, тете Гране отдавали донашивать подружки и товарки, которые из больницы отправлялись туда, где не нужна форменная одежда, — туда еще не проложены рельсы.

«Доброе утро!» — хоть утром, хоть днем, хоть вечером роняла тетя Граня на ходу.

Сошнин чувствовал, что, если б не природная деликатность, тетя Граня не поздоровалась бы с ним вовсе. И всякий раз, пришибленный, как гвоздь, по шляпку вбитый в тротуар, с резиновой улыбкой на лице, он хотел и не мог побежать следом за тетей Граней и кричать, кричать на весь народ: «Тетя Граня! Прости меня! Прости нас!..»

«Доброе утречко! Здравеньки булы!» — вместо этого выдавал он шуливо, работая под Тарагульку со Штепселем, ненавидя себя в те минуты и украинских неунывающих юмористов, всех эстрадных словоблудов, весь юмор, всю сатиру, литературу, слова, службу, свет белый и все на этом свете...

Он понимал, что среди прочих непостижимых вещей и явлений ему предстоит постигнуть малодоступную, до конца никем еще не понятую и никем не объясненную штуковину, так называемый русский характер, приближенно к литературе и возвышенно говоря, русскую душу... И начинать придется с самых близких людей, от которых он почему-то так незаметно отдалился, всех потерял: тетю Лину и тетю Граню, собственную жену с дочерью, друзей по училищу, приятелей по школе... И надо будет прежде всего себе все досконально выяснить, доказать и выявить на белой бумаге, а на ней все видно, как в прозрачной ключевой воде, и в этой прозрачности предстоит обнажиться до кожи, до неуклюжих мослаков, до тайных неприглядных мест, доскребаясь умишком до подсознания, которое, догадываться начал Сошнин, и движет творчеством, оно и есть его главный секрет. Как это трудно! И сколько мужества и силы надо, чтобы «мыслить и страдать» все время, всю жизнь, без перекура и отпуска, до последнего вздоха! Может быть, объяснит он в конце концов хотя бы самому себе: отчего русские люди извечно жалостливы к арестантам и зачастую равнодушны к себе, к соседу — инвалиду войны и труда? Готовы порой последний кусок отдать осужденному, костолому и кровопускателю, отобрать у милиции злостного, только что бушевавшего хулигана,

коему заломили руки, и ненавидеть сокавартиранта за то, что он забывает выключить свет в туалете, дойти в битве за свет до той степени неприязни, что могут не подать воды больному, не торкнуться в его комнату...

Вольно, куражливо, удобно живется преступнику среди такого добросердечного народа, и давно ему так в России живется.

Добрый молодец, двадцати двух лет от роду, откушав в молодежном кафе горячительного, пошел гулять по улице и заколол мимоходом трех человек. Сошнин патрулировал в тот день по Центральному району, попал на горячий след убийцы, погнался следом в дежурной машине, торопя шофера. Но молодец-мясник ни убежать, ни прятаться и не собирался: стоит себе у кинотеатра «Октябрь» и лижет мороженое — охлаждается после горячей работы. В спортивной курточке канареечного или, скорее, попугайного цвета, красные полосы на груди. «Кровь! — догадался Сошнин. — Руки вытер о куртку, нож под замочек на груди спрятал». Граждане шаркались, обходили измазавшего себя человеческой кровью «артиста». Он с презрительной усмешкой на устах долижет мороженое, культурно отдохнет — стаканчик уже внаклон, деревянной лопаточкой заскребает сласть — и по выбору или без выбора — как душа велит — зарежет еще кого-нибудь.

Спиной к улице, на пестром железном перильце сидели два корешка и тоже питались мороженым. Сладкоежки о чем-то перевозбужденно переговаривались, хохотали, задирали прохожих, вязались к девчонкам, и по тому, как дрыгались куртки на спинах, катались бомбошки на спортивных шапочках, угадывалось, как они беспечно настроены. Мяснику уже все нипочем, брать его надо сразу намертво, ударить так, чтоб, падая, он ушибся затылком о стену: если начнешь крутить среди толпы, он или дружки его всадят нож в спину. На ходу выскочив из машины, Сошнин перепрыгнул через перила, оглушил о стену «кенаря», шофер за воротники опрокинул двух весельчаков с перилец, придавил к сточной канаве. Тут и помощь подоспела — поволокла милиция бандитов куда надо. Граждане в ропот, сгрудились, сбились в кучу, милицию в кольцо взяли, кроют почему зря, не давая обижать «бедных мальчиков». «Что делают! Что делают, гады, а?! — трясся в просторном пиджаке выветренный до костей человек, в бессилии стуча инвалидной тростью по тротуару. — Н-ну, легавые! Н-ну, милиция! Эко она нас бережет!». «И это середь бела дня, середь народа! А попади к им туда-а...» «Такой мальчик! Кудрявый! А он его, зверюга, головой об стену...»

Сошнин «тер к носу», но потрясенный шофер, недавно работающий в милиции, не выдержал: «Попались бы вы этому кудрявому мальчику! Он бы вам запросто укоротил и язык и жизнь...»

В отделении как раз чинил телефоны давно уже вышедший на

заслуженный отдых, но от нужды прирабатывающий к пенсии бывший командир отделения морских пехотинцев, переколовший ножом фашистов больше, чем его дед, поморский рыбак, острогою рыбы.

«За что ты убил людей, змееныш?» — усталым голосом спросил он «кенаря».

«А хари не понравились!» — беспечно улыбнулся тот ему в ответ.

Старый вояка не выдержал, схватил убийцу за горло, свалил на пол. Едва отобрали добра молодца, который вопил на целый квартал: «Бо-о-ольно! Не имеешь права! О-о-ой! Отпусти-ы-ы!» И потом невинно лупил глаза на следователя: «Неужели меня расстреляют? Вышка?! Я ж не хотел...»

Глава третья

«Но все, все! На сегодня хватит!» — отмахнулся Сошнин от навязчивых и всегда в худую погоду длинных и мрачных воспоминаний. В предчувствии избяного тепла он поежился, передернул плечами, словно бы стряхивая мокро и прах от дум своих, погладил себя по лицу рукой и прибавил шагу. У него хотя и было в квартире паровое отопление, но плита тоже осталась от доисторических времен. Хорошее, доброе сооружение — плита. Он ее подтапливал дровишками, которые ему по старой дружбе осенью сваливал с телеги у дровяника Лавря-казак. «Сейчас растопим печку, супчику спроворим, чайку покрепче заварим — бог с ней, с житухой этой неловкой, с погодой гадкой, с проклятой болью в плече. Жизнь, она все-таки в общем-то ничего. В ней то клюет, то не клюет...» — Сошнин улыбнулся, вновь увидев наяву дядю Пашу с метлой во дворе, с достоинством топающую домой лошадку Лаври-казака, даже мотивчик засвистел из фильма «Следствие ведут знатоки» и промурлыкал выразительнейший текст популярной не только среди милиции, но и среди гражданского населения песни: «Если что-то, где-то, почему-то у кого-то...» — чем, видимо, и раздражил компанию из трех человек, расположившуюся в их доме, под лестницей, пить вино, поставив бутылку на отопительную батарею. «И что они все троицами-то? Чем объяснить активность этого числа?»

Из новых жилищ, со станции — в укромный уголок, под прелую лестницу старого, доброго дома номер семь, зачастили любители побеседовать. Свинячили под лестницей, блевали, дрались, иные и спали здесь, прижавшись к ржавой батарее, сочащейся тихим паром, отчего подгнили и подоконник и пол под батареями. Одного из троих Сошнин вспомнил — бывший игрок футбольной команды «Локомотив», сперва местной, потом столичной. Когда столичный «Локомотив», потерпев крушение, ахнулся в первую лигу, земляк явился доигрывать спортивную карьеру в родном городе. Соседи, в первую

голову бабка Тутышиха, ныли: «Леш, наведи ты порядок под лестницей. Разгони кирюшников. Житья нету!»

Но ему поднадоело на службе возиться со всякой швалью, устал он от нее и психовать, нарываться на нож или на драку не хотелось — донарывался. Однако все равно придется разгонять пьянчуг — народ требует. «Но на сегодня мне хватит впечатлений», — решил Леонид, да и вспомнились к месту слова знакомого тюремного парикмахера: «Усю шпану не переброешь». И когда, приподняв изуродованную ногу, опираясь на перила свободной рукой, с детства натренированно взлетел он сразу на пол-лестницы и услышал из-под лестницы: «Эй, ты, соловей! Хиль Эдуард! Кто здороваться будет?», «Ничего не вижу, ничего не слышу», — продекламировал себе и, приволакивая ногу, двинулся дальше, выше, в жилье, в свой спасительный угол. Но едва сделал шаг или два, как услышал за собой погоню — старые ступени родного дома он различал по голосам, как пианист-виртуоз — свой редкостный рояль.

Ступени звучали напористо и расстроено — услышал он ушами, почувствовал спиной, а спина у настоящего милиционера должна быть, что у детдомовца, очень чуткая и с «глазами».

Его обогнал и заступил дорогу домой парень с роскошной смоляной шевелюрой, в распахнутом полушубке с гуцульским орнаментом по подолу, бортам и обшлагам.

— Тебя спрашивают, физкультурник: кто здороваться будет?

Кавалер в дубленке, с красными прожилками в вялых глазах — предосенняя ягода, от нехватки солнца плесневеющая в незрелом виде, — переваливал во рту жвачку, локтем навалившись на перила. Лестница в доме номер семь рассчитана не на крестный ход, на малый и нежирный народ она рассчитана. Когда хоронили тетю Лину, поднимали гроб над изрезанными складниками перилками так высоко, что покойница едва не чертила остреньким носом по прогнувшейся вагонке потолочного перекрытия. Леонид поморщился от боли в ноге, от душу рвущего видения, так некстати его настигающего.

— Здравствуйте, здравствуйте, орлы боевые! — согласно и даже чуть заискивающе произнес Сошнин, по практике ведая, что таким-то вот тоном как раз и не надо было разговаривать с воинственно настроенными гостями. Но так устала и ныла нога, так хотелось домой, остаться одному, поесть, полежать, подумать, может, плечо отпустит, может, душа перестанет скулить...

— Какие мы тебе орлы? — суровым взглядом уперся в него и выплюнул жвачку под лестницу парень. — Ты почему грубишь? — Он распахнул модную дубленку, сделался шире, разъемистой.

«Интересно, где он отхватил такой шабур? Вроде бы женский? Дорогой небось?» — не давая себе завести, отвлекался Сошнин.

— А ну, сейчас же извинись, скотина! — выступил из-под лестницы футболист. — Совсем разбаловался! Людей не замечаешь!

За футболистом с блуждающей улыбкой стоял мужик — не мужик, подросток — не подросток, по лицу — старик, по фигуре — подросток. Матерью недоношенный, жизнью, детсадом и школой недоразвитый, но уже порочный, в голубом шарфике и сам весь голубенький, бескровный, внешне совсем не похожий на только что вспомнившегося «кенаря» и все же чем-то неуловимо напоминающий того убийцу, рыбьем ли прикусом губ, ощущением ли бездумной и оттого особенно страшной, мстительной власти. Он, по синюшному лицу и по синюшной стриженной голове определил Сошнин, только что с «режима». Давно не вольничал, давно не пил, недоносочек, захмелел раньше и больше напарников. Барачного производства малый, плохо в детстве кормленный, слабосильный, но, судя по судачьему прикусу сморщенного широкого рта, до потери сознания психопаточный. За пазухой у него нож. Не переставая плыть в бескровной, рыбьей улыбке, он непроизвольно сунул одну руку в карман куртки, другой нервно, в предчувствии крови, тербил шарф. Самый это опасный тип среди трех вольных гуляк.

«Спокойно! — сказал себе Сошнин. — Спокойно! Дело пахнет кереси-и-ином...»

— Ну, что ж, извините, парни, если чем-то вас прогневил.

— Что это за «ну что ж»? — Кавалер с бакенбардами, в гуцульском бабьем полшубке напоминал Сошнину обильным волосом, барственной усмешечкой избалованного харчем, публикой, танцорками певца из модного варьете. Умственно и сексуально переразвитые девки бацали в том «варьете» в последней стадии одевания — одни в гультиках, другие в колготках, — да и это связывало их творческие возможности, и не будь суровых наших нравственных установок, они и это все поскидывали бы и еще выше задирали бы лосиные, длинные ноги, изображая патриотический танец под названием «Наш подарок БАМу». Певец же «мужественным» басом расслабленно завывал в лад их телодвижениям: «Ты-ы, м-мая мэл-ло-о-о-одия-а-а-а...»

С ног до головы излаженный под боготворимого среди недоумков солиста, кавалер на лестнице хотел острых ощущений, остальное все у него было для удовольствия жизни. За шикарной прической — оскорбительный плагиат с гусара-героя и поэта Давыдова; в модном полшубке с грязными орнаментами, в как бы понарошке мятых вельветовых штанах с вызывающе светящейся оловянной пуговицей почти на пупе, в засаленном мохеровом шарфике, в грязновато-алой водолазке, оттеняющей шею, покрытую как бы выветренной берестой, — во всем, во всем уже была не то чтобы слишком ранняя, как говорил поэт, усталость, непромытость была, затасканность. «Вот, с запущения лица все и начинается», — вспомнился начальник Хайловского РОВД Алексей Демидович Ахлюстин, добрейшей души человек, неизвестно, когда, как и почему попавший на работу в милицию.

— Извиняйся как следует: четко, отрывисто, внятно!

«Испортить эту экзотическую харю, что ли? — подумал Сошнин.— В сетке бутылка с молоком, банка с компотом... Око за око, зуб за зуб, подлость за подлость, да? Да! Да! Однако далеко мы так зайдем... И молоко жалко на такую погань тратить. И цыпущку жалко, она, бедная, и так воли не видела, не оформилось ее молодое, инкубаторское тело до плотской жизни — и этакой-то невинной птичкой да по такой развратной роже!..»

Сошнину удалось отвлечься, он унял в себе занимающуюся дрожь, стоя в пол-оборота, чтоб парня видеть, если бросится, и тех, внизу, из поля зрения не выпускать, ждал, что будет дальше. Более других его занимал футболист: во-первых, ему за тридцать, пора, как говорится, и мужчиною стать; во-вторых, он должен знать Сошнина. Но футболист и отроду-то мало памятлив, по случаю возвращения в родную команду записался и родимой матушки, видать, не узнавал, а может, видел Сошнина в форме — милицейская же форма шибко меняет человека и отношение к нему.

Лишь краткое замешательство потревожило налитый злобой взгляд футболиста, так и не простившего человечество за то, что «Локомотив» вышибли в «перволижники», на окраину Москвы, в Черкизово, где, несмотря на уютный стадиончик, бывает больничников от одной тысячи и до двухсот душ, прячущихся с выпивкой на просторных трибунах; отсюда тебе и навар, и наградные, и слава, и почет. Да еще это неблагодарное в футболе ремесло — «защитник»! Из лексикона лагерных языкотворцев ему скорее подходило: стопор — стопорило, кайло — рубило, секач, колун, обух, но лучше всего — пехальщик, который не пускал к воротам честных, смелых ребят — нападающих, бил их бутсой в кость, стягивал с них трусы и майки, валил наземь, получая лютое удовольствие от вопля поверженного «противника».

— Да-да! — поторопил футболист-пехальщик, косым, грузным взглядом давая «противника». — Не лезь в офсайд! Не то получишь гол в рыло!

— Может, его на этом модном галстукке повесить? — посоветовался с собутыльниками «кавалер» и, зацепив пальцем, брезгливо выбросил галстук Сошнина наружу, меж съезженных бортов поношенного форменного плаща. На фоне дряхлой лестницы, в посерелой, исцарапанной известке стен дома с обнажившимися лучинками и гвоздями и галстук, и обладатель его выглядели нелепо, так смотрелся бы здесь, в их трудовом жилище, золотой канделябр из роскошного Петродворца.

— А может, не надо, парни? — запихивая лаковый галстук обратно под плащ пальцами, начавшими дрожать, произнес Сошнин все еще сдержанным, даже чуть просящим голосом.

— Чего не надо?

— Куражиться.— Сошнин увидел, как, отменяя лохмами обивки сор, пыль и окурки, приоткрылась справа по спуску лестницы дверь, в нее высунулся круглый нос и засветился круглый глаз бабки Тутышихи. Сошнин вытаращил глаза, и бабка поспешно прикрыла дверь.

— Чего ты сказал? Чего ты сказал? — Футболист-пехальщик, распалаясь от праведного гнева, двинулся вверх по лестнице.— Пеночник! Офсайдник! Я те...

Недавний зэк все плыл в улыбке, но уже расторможенной, с поводка спущенной, сожалеюще качая головой: «Сам виноват. Чего тебе стоило попросить прощения?» Одной рукой он перебирал по барьеру, тащась за футболистом, почти его заслонившим, другой ловил язычок у нагрудного замочка, чтоб вынуть ножик.

«Откуда это в них? Откуда? Ведь все трое вроде из нашего поселка. Из трудовых семей. Все трое ходили в садик и пели: «С голубого ручейка начинается река, ну, а дружба начинается с улыбки...». В школе: «Счастье — это радостный полет! Счастье — это дружеский привет... Счастье...» В вузе или в ПТУ: «Друг всегда уступить готов место в шлюпке и круг...» Втроем на одного в общем-то в добром, в древнем, никогда не знавшем войн и набегов русском городе...»

— Стойте, парни! — властно скомандовал Сошнин. Бабка Тутышиха опять высунулась в дверь, и он снова вытаращился на нее. Чуткий к опасностям урка мгновенно обернулся, но ничего пугающего не заметил — бабка успела притворить дверь. Тем временем Леонид повесил сетку на выступ бруса и стал спиной к нему так, чтоб видно было нападающих и внизу и сверху.

— Ах вы, добры молодцы! Трое на одного! Да еще на хромого! Былинные храбрецы! Илья Муромец, Микула Селянинович да Алеша Попович... Давайте по-былинному силу расходовать.

— Как это?

— На работе.

— На какой?

— Тротуары чистить.

— Издеваешься, гад! — взревел модник и бросился сверху на жертву лохматым зверем. Сошнин чуть прогнулся и перебросил парня через себя, с таким расчетом, чтобы он смел с лестницы собутыльников, но тот уронил лишь рахитного от рождения урку. Футболист устоял на ногах, однако был ошеломлен. Не давая гулякам опомниться, Леонид прыжком миновал футболиста, двумя ударами свалил модника на грязный пол, отбросил урку к батарее, уже не владея собой, — микстуры, уколы, антибиотики, разные всякие идиотики, изматывающие дежурства, погони, схватки, ночное литворчество сказались, раны сказались, чужая в него влитая кровь сказалась. Сырковасова эта...

Задавленно хрипя, он вогнал кулаком футболиста под лестницу, размазывал его по стене.

— Вступайтесь за друга, подонки! Вступайтесь за друга!

— Какой он нам друг? Какой друг? — прячась за спину урки, твердил кавалер и, что-то вспомнив, толкнул урку в спину, по-бараньи заблажив: — Геха, режь! Насмерть режь!

Геха послушно сунул руку за пазуху, но вынуть нож ему Сошнин не дал, коротким ударом в сплетение вышиб из него дых и, когда урка, охнув, согнулся, поддел его встречным, отправив к заплеванному, мутному окну. Урка ударился головой в батарею, запищал что-то, как крашенный праздничный шарик, из которого пошел воздух, и, как шарик же, смялся, усох, свернулся синим комочком на полу.

Футболист не оказывал никакого сопротивления. Бить его было неинтересно, но Сошнин так освирепел, что остановиться уже не мог и то ли притворившегося, то ли в самом деле вырубившегося футболиста кинул к батарее, в кучу с уркой, а сам шарил глазами, что-то рыча. Модник ослаб, раскинув руки и вылупив глаза, сидел на полу, вжимался в угол, в дерево, в пазы, забытые грязной, остистой паклей.

— Не буду... не буду... Дяденька! Дя-а-аденька! — визжал кавалер, закрываясь рукавом лопнувшего под мышкой полушубка. Обнажилась сиреневого цвета овчина, от носки или для моды этак крашенная, и овчинка эта, словно бы снятая с игрушечного медвежонка, внезапно заставила Сошнина опомниться. Он продохнул раз, потом еще раз, с удивлением поглядел на кровавые слюни распустившего молодца, вынул его из угла, будто мышонка из мышеловки, за воротник полушубка, подтащил к выходу и пинком вышиб на улицу с деревянного, бороздки протоптанного крылечка.

— Появись еще раз, поганка!

Долго потом стоял Леонид возле лестницы, не зная, куда себя девать, что делать. Бабка Тутышиха снова приоткрыла дверь:

— Давно бы так! А то ходют...

— Тебя тут только и не хватало!

Провал, затемнение — все же болен он еще и слаб. Нервами. Смятение в душе, неустройство, и срамцы эти еще на рожон лезут...

Вспомнив про сетку, Леонид вышел на лестницу. Сетка висела на месте. Перегнувшись, заглянул вниз. Под батареей темнела лужа воды, может, и крови, блестело что-то, догадался — нож. Спустился, подобрал тупой, под кинжал излаженный тесак, которым бабушка или кто еще из старших родичей урки щепали лучину, рубили проволоку, — настоящий финарь урка не успел еще выточить или тайком купить.

Возвратившись в квартиру, нашел заделье — позвонил в железно-дорожное отделение милиции. Дежурил Федя Лебеда, сокурсник по училищу и напарник по работе, бывшей работе.

— Федя, я тут дрался. Одному герою башку об батарею расколол. Если че, не искали чтоб. Злодей — я.

- Ты с ума сошел!
- Их надо было побить, Федя.
- Надо... надо... Как не надо? Да за них, за поганцев, затаскают.

Сошнин повесил трубку. Посмотрел на руки. Руки все еще дрожали. Козонки сбиты. Стал мыть руки под краном и ровно бы задремал над раковиной. Чувство усталой, безысходной тоски навалилось на него — с ним всегда так, с детства: при обиде, несправедливости, после вспышки ярости, душевного потрясения — не боль, не возмущение, а пронзительная, все подавляющая тоска овладевала им. Все же по природе своей он мямля, да еще бабами воспитанный. Ему бы не в милиции трудиться, а, как матери и тетке, в конторе сидеть, квитанции подшивать и накладные выписывать, если уж в милиции, то на месте дяди Паши — территорию мести.

А кто рожден для милиции, для воинского дела? Не будь зла в миру и людей, его производящих, ни те, ни другие не понадобились бы. Веки-вечные вся милиция, полиция, таможенники и прочая, прочая существуют человеческим недоразумением. По здравому разуму уже давно на земле не должно быть ни оружия, ни военных людей, ни насилия. Наличие их уже просто опасно для жизни, лишено всякого здравого смысла. А между тем чудовищное оружие достигло катастрофического количества и военная людь во всем мире не убывает, а прибывает, но ведь предназначение и тех, что надели военную форму, военный мундир, было, как и у всех людей, — рожать, пахать, сеять, жать, создавать. Однако выродок ворует, убивает, мухлюет, и против зла поворачивается сила, которую доброй тоже не назовешь, потому как добрая сила — только созидающая, творящая. Та, что не сеет и не жнет, но тоже хлебушек жует, да еще и с маслом, да еще и преступников кормит, охраняет, чтоб их не украли, да еще и книжечки пишет, — давно потеряла право называться силой созидательной, как и культура, ее обслуживающая. Сколько книг, фильмов, пьес о преступниках, о борьбе с преступностью, о гулящих бабах и мужиках, злочных местах, тюрьмах, каторгах, дерзких побегах, ловких убийствах... Есть, правда, книга с пророческим названием: «Преступление и наказание». Преступление против мира и добра совершается давно, наказание уже не за горами, никакой милиции его не упредить, всем атомщикам руки не скрутить, в кутузку не пересадить, всех злодеев «не переброешь!». Их много, и они сила, хорошо защищенная. Беззаконие и закон для некоторых мудрецов размыли дамбу, воссоединились и хлынули единой волной на ошеломленных людей, растерянно и обреченно ждущих своей участи.

Говорят, понять — значит простить. Но как и кого понять? Кому и чего прощать? Настоящие преступники не крыночные блудни, не

двурушники, что лебезят перед «бугром», кусочничают, считая себя невинно осужденными, тянутся и трясутся перед конвоиром, а ночами точат нож, делают из полиэтиленового мешка носок и, выменяв за пайку старую иглу, вгоняют в себя всякую дурманящую дрянь, курят коноплю до того, чтоб помутился разум, — нет, не они, а зэк в переходном возрасте, которого видел «на торфе» Сошнин, струнул его с места своей моралью и жизненной программой. Подтянутый, с силенкой в руках и в характере — «вор в законе», «честно» достукивающий срок, что по выходе на свободу тут же приступит к своим основным обязанностям: подламывать магазины, чистить склады и квартиры, завяжется «интересное дело» — косануть вырубку, ограбить инкассатора, обобрать богатого фрайера — кто-кто, а вор безработицы не ведаёт, так вот тот ворюга открыто издевался над журналисткой из назидательно-воспитательного журнала, которую сопровождал «на торф» Сошнин как человек, имеющий дело «с пером». Словно с луны свалившись, журналистка всему удивлялась и верила особенно восторженно в перевоспитавшихся, осознавших свою вину, устремленных к стерильно чистой и честной будущей жизни. С ними она беседовала «по душам».

— Вот вы,— обратилась она к деловито спокойному, цену себе знающему зэку,— вот вы грабили людей, обворовывали квартиры... Думали ли вы о своих жертвах?

— Начальник,— усмехнулся зэк, обращаясь к Сошнину,— ты зачем меня обижаешь? Я достоин более тонкого собеседника.

— Но ты ответь, ответь. А то мы посчитаем, что виляешь.

— Я-а? Виляю! Еще раз обижаешь, начальник.— И с расстановкой, дожидаясь, чтоб журналистка успела записать объяснения, валил откровенность свою: — Если б я умел думать о жертвах, я б был врачом, агрономом, комбайнером, но не вором! Записали? Та-ак. Дарю вам еще одну ценную мысль: если б не было меня и моей работы, им,— показал он на Сошнина,— и им, им, им,— тыкал он пальцем на сторожевые будки, на здание управления колонии, на Дом культуры, на баню, гараж, на весь поселок,— всем им нечего было бы кушать. Им меня надо беречь пуще своего глаза, молиться, чтоб воровать не бросил...

С этим все ясно. Этот весь на виду. Его будут перевоспитывать, и он сделает вид, что перевоспитался, но вот как понять пэтэушников, которые недавно разгромили в Вейске приготовленный к сдаче жилой дом? Сами на нем практику проходили, работали, и сами свой труд уничтожили. В Англии, читал Сошнин, громят уже целый город! Неподалеку от задымленного, промышленного Бирмингема был построен город-спутник, в котором легче дышать и жить. И вот его-то громят жители, и кабы только молодежи! На вопрос: «Зачем они это делают?» — всюду следует один и тот же ответ: «Не знаю».

Глава четвертая

Сошнин много и жадно читал, без разбора и системы, в школе, затем дошел до того, чего в школах «не проходили», до «Экклезиаста» дошел и — о, ужас! Если бы узнал замполит областного управления внутренних дел — научился читать по-немецки, добрался до Ницше и еще раз убедился, что, отрицая кого-либо и что-либо, тем более крупного философа да еще и превосходного поэта, надо непременно его знать и только тогда отрицать или бороться с его идеологией и учением, не вслепую бороться, осязуемо, доказательно. Ведь как говорил русский ученый: «Искать что-либо, хоть теорию относительности, хоть грибов, искать, не пробуя, нельзя». А Ницше-то как раз, может, и грубо, но прямо в глаза лепил правду о природе человеческого зла. Ницше и Достоевский почти достали до гнилой утробы человечиска, до того места, где поет, зреет, набирается вони и отрачивает клыки спрятавшийся под покровом тонкой человеческой кожи и модных одежд самый жуткий, сам себя пожирающий зверь. А на Руси Великой зверь в человеческом облике бывает не просто зверем, но звериной, и рождается он чаще всего покорностью нашей, безответственностью, безалаберностью, желанием избранных, точнее, самих себя зачисливших в избранные, жить лучше, сытей ближних своих, выделиться среди них, выщелкнуться, но чаще всего — жить, будто вниз по речке плыть.

Месяц назад, в ноябрьскую уж мокропогоду, привезли на кладбище покойника. Дома, как водится, детки и родичи поплакали об усопшем, выпили крепко — от жалости, на кладбище добавили: сыро, холодно, горько. Пять порожних бутылок было потом обнаружено в могиле. И две полные, с бормотухой, — новая ныне, куражливая мода среди высокооплачиваемых трудяг появилась: с форсом, богатенько не только свободное время проводить, но и хоронить — над могилой жечь денешки, желательно пачку, швырять вослед уходящему бутылку с вином — авось похмелиться горемыке на том свете захочется. Бутылоч-то скорбящие детки набросали в яму, но вот родителя опустить в земельку забыли. Зарыли, забросали скорбную щель в земле, бугорок над нею оформили, кто-то из деток даже повалился на грязном холмике, поголосил. Навалили пихтовые и жестяные венки, поставили временную пирамидку и поспешили на поминки.

Несколько дней, сколько — никто не помнил, лежал сирота-покойник в бумажных цветочках, в новом костюме, в святом венце на лбу, с зажатым в синих пальцах новеньким платочком. Измыло бедолагу дождем, полную домовину воды нахлестало. Уж когда вороны, рассевшись на деревья вокруг домовины, начали целиться — с какого места начинать сироту, крича при этом «караул», кладбищенский сторож опытным нюхом и слухом уловил неладное.

Это вот что? Все тот же, в умиление всех ввергающий, пространственный русский характер? Или недоразумение, излом природы, нездоровое, негативное явление? Отчего тогда молчали об этом? Почему не от своих учителей, а у Ницше, Достоевского и прочих давно опочивших, да и то почти тайком, надо узнавать о природе зла? В школе цветочки по лепесточкам разбирали, пестики, тычинки, кто чего и как опыляет, постигали, на экскурсиях бабочек истребляли, чермухи ломали и нюхали, девушкам песни пели, стихи читали. А он, мошенник, вор, бандит, насильник, садист, где-то вблизи, в чьем-то животе или в каком другом темном месте затаившись, сидел, терпеливо ждал своего часа, явившись на свет, пососал мамкиного теплого молока, поопрастывался в пеленки, походил в детсад, окончил школу, институт, университет ли, стал ученым, инженером, строителем, рабочим. Но все это в нем было не главное, поверху все. Под нейлоновой рубашкой и цветными трусиками, под аттестатом зрелости, под бумагами, документами, родительскими и педагогическими наставлениями, под нормами морали ждало и готовилось к действию зло.

И однажды отворилась вьюшка в душевной трубе, вылетел из черной сажи на метле веселой бабой-ягой или юрким бесом диавол в человеческом облике и принялся горами ворочать. Имай его теперь милиция, беса-то, — созрел он для преступлений и борьбы с добрыми людьми, вяжи, отымай у него водку, нож и волю вольную, а он уж по небу на метле мчится, чего хочет, то и вытворяет. Ты, если даже в милиции служишь, весь правилами и параграфами опутан, на пуговицы застегнут, стянута, ограничен в действиях. Руку к козырьку: «Прошу вас! Ваши документы». Он на тебя поток блевотины или нож из-за пазухи — для него ни норм, ни морали: он сам себе подарил свободу действий, сам себе мораль соорудил и даже про себя хвастливо-слезливые песни сочинил: «Оп-пя-ять по пя-а-а-атницам па-айдут свида-а-ания, тюрь-ма Таганская — р-ря-адимай до-о-о-ом...»

В Японии, читал Сошнин, полицейские сперва свалят бушующего пьяного человека, наручники на него наденут, после уж толковище с ним разводят. Да город-то Вейск находится совсем в другом конце Земли, в Японии солнце всходит, в вейской стороне заходит, там сегодня плюс восемнадцать, зимние овощи на грядках зеленеют, здесь — минус два и дождище льет, вроде бы целый век не переставая.

Сошнин помочил голову под краном, тряхнул мокром во все стороны: некому запрещать мокретью брызгать — тоже полная свобода! Закрыл кран, поставил кастрюлю с курицей на плиту, пригладил себя руками по голове, будто пожалел, вытянулся на диване, устался в потолок. Тоска не отпускала. И боль терзала плечо, ногу. «Могли ведь и поуродовать, добить, засунуть под лестницу... Такие все могут...»

Патрулировали Сошнин с Федей Лебедой по городу, и бог дал угонщика. Пьяный, как потом выяснилось, только что с Крайнего Севера прибывший с толстой денежной сумой «орел», нажрался с радости, подвиггов захотелось — и увел самосвал. Возле вокзала, на вираже вокруг клумбы, будь она неладна, — на площади срубили тополя, по новой моде закруглили клумбу, воткнули в центре пяток ливанских елей, навалили бурых булыжин, посадили цветочки, и сколько уж из-за нее, из-за этой вейскими дизайнерами созданной эстетики, народу пострадало: не удержал машину угонщик, зацепил остановку, двух человек изувечил, одного об будку убил и, ошалев, запаниковал, ослеп, помчался по центральной улице, на светофоры, в мясо разбил на перекрестке молодую мать с ребенком.

Угонщика преследовали всей милицией, общественным транспортом, «отжимали» от центра города на боковые улицы, в деревянную глушь, надеясь, что, может, врежется в какой забор. На хвосте угонщика висели Сошнин и Федя Лебеда, загнали было дикую машину во двор, угонщик заметался по песочному квадрату, в щепу разнес детскую площадку — хорошо, детей не было в тот час во дворе. Но уже на выезде сшиб двух под руку гулявших старушек. Будто бабочки-бояршницы, взлетели дряхлые старушки в воздух и сложили легкие крылышки на тротуаре.

Сошнин — старший по патрулю — решил застрелить преступника.

Легко сказать — застрелить! Но как это трудно сделать. Стрелять ведь надо в живого человека! Мы запросто произносим по любому случаю: «Так бы и убил его или ее...» Поди вот и убей на деле. В городе так и не решились стрелять в преступника — народ кругом. Выгнали самосвал за город, все время крича в мегафон: «Граждане, опасность! Граждане! За рулем преступник! Граждане...»

Выскочили на холм, миновали последнюю городскую бензоколонку. Приближалось новое загородное кладбище. Глянули — о, ужас! Возле кладбища сразу четыре похоронные процессии, и в одной процессии черно народу — какую-то местную знаменитость провожают. За кладбищем, в пяти километрах, — крупная строительная площадка, что мог здесь надеть угонщик — подумать страшно. А он совсем обалдел от скорости, жал на загородных просторах за сто километров.

— Стреляй! Стреляй!

Федя Лебеда сидел в люльке мотоцикла, руки у него свободны, да и лучший он стрелок в отделении. Послушно вынув пистолет из кобуры, Федя Лебеда оттянул предохранитель и, словно не поняв, в кого велено стрелять, всадил одну, другую, третью пули в колеса самосвала. Резина задымилась. Машина заприхрамывала, забренчала. Сошнин, закусив губу, надавил до отказа на газ мотоцикла.

Они сближались с машиной. Обошли ее. Федя Лебеда поднял пистолет, но тут же в бессилии опустил руку.

— Останови-и-и-ись! — кричал он. — Остановись, вражина!.. У но-востройки загородят дорогу — там пост!

По губам угадал Сошнин почти молитву, творимую напарником в последней надежде на бескровное завершение дела.

— А кладбище? — по губам же угадал и Федя Лебеда ответ Сошнина.

Побелев и в самом деле что писчая бумага, не испорченная графоманами, будто тяжелую гирию, поднимал Федя Лебеда привыч-ный пистолет. Губы шлепали, вытряхивали с мокром:

— Попробовать... Попробовать...

— Некогда! — Сошнин яростно пошел на обгон самосвала.

Угонщик не пустил их по ходу слева. Резким качком бросив мотоцикл в сторону, почти падая, пошли справа. Поравнявшись с кабиной машины, понимая всю безнадежность слов, все равно оба разом заклинали, забыв про мегафон:

— Остановитесь! Остановитесь! Будем стрелять...

Грохочущая колымага ринулась на них, ударила мотоцикл железной подножкой. Сошнин был водителем-асом, но что-то прои-зошло с ним необъяснимое — он ловил и не мог поймать педаль мотоцикла левой ногой. В ушах занялся звон, небо и земля начали багроветь, впереди забегали и куда-то, за какой-то край посыпались люди из похоронных процессий.

— Да стреляй же!

Двумя выстрелами Федя Лебеда убил преступника. Машина с грохотом промчалась еще какое-то расстояние на продырявленных колесах и сунулась носом в кювет. Уже падая с сиденья мотоцикла или вместе с мотоциклом, Сошнин успел увидеть шарикоподшипником выкатившийся из затылка, чуть обросшего упрямо-тупого затылка кругляшок, еще кругляшок, быстрее, чаще, будто с конвейера покатались, вытянулись в красную нитку, шея, плечи, новая, на Севере, с корабля, видать, куртка, вся в карманах, чем-то туго набитых, быть может, письмами матери, может, и любимой девушки. Был еще значок на куртке. Яркий значок за спасение людей на пожаре. И вот куртка сделалась красной на плечах и на спине, что значок за отличие на пожаре.

Сошнина скрутило судорогой на земле, красное мокро подступило к горлу. Скорезженный, смятый, он лежал затем в машине «Скорой помощи» рядом с застреленным угонщиком и слышал, как под носилками по железному полу плещется, скоблит уши их вместе слившаяся кровь.

Опытнейший хирург железнодорожной больницы, уроженец родного железнодорожного поселка, упорно учившийся на тройки при пятерочных способностях, — Гришуха Перетягин успел когда-то полностью оформиться в доктора, был сед, медлительно-спокоен и, как показалось Сошнину, несколько и поддатый.

— Нога висит на одной коже и на жиле. Ампутировать или спасть? Как прикажете, гражданин начальник?

— Попытайся, доктор,— взмолился Сошнин и заискивающе добавил: — За мной не пропадет, Гришуха.— Разрешая недоуменный взгляд доктора, еще добавил: — Я ж тоже наш брат-железнодорожник... тети Ленин племяш.

— А-а! — оживился доктор.— Лешка, что ли? А я гляжу, понимаю... Ну, коли с железнодорожного да еще наших, вятских, кровей — и одной жилы достаточно... А я смотрю, вроде как знакомое лицо, понимаю...— наговаривал Гришуха и делал какие-то знаки сестре и няне.— Дак не пропадет за тобой, говоришь? Заметешь и домой не отпустишь, хе-хе-хе...

Отчего-то Гришуха-хирург не дал Сошнину наркоз. Налили полный стакан чистого спирта. Доктор подождал, когда пациент сделается мертвецки пьян, поболтал еще с ним о том, о сем и приступил к делу. Во время операции Сошнину поднесли еще мензурочку. Онпил спирт, будто воду, очень холодную, родниковую. С непривычки сжег слизистую оболочку, долго потом сипел горлом.

Гришуха Перетягин, довольный собой и профессиональным мастерством, свойски посмеивался на обходах:

— Я тя, как на фронте, латал. Бах-трах по горячему. И присрело! При-иро-сло-о-о, понимаеш! Еще на нас, на вятских, наркоз тратить, кровь переливать. Наркоз вредный, крови в запасе мало, нас, вятских, много. Слушай, ты че, и правда чистый спирт непил? Н-и-ну, понимаеш! Тоже мне, миленький легавенький, красивый, кучерявенький! Таких хлюпиков надо гнать в шею из органов.

Расхаживался Сошнин долго. От одиночества и тоски много читал, еще плотнее налег на немецкий язык, начал марать бумагу чернилами. Сперва писал объяснительные, много и длинно, потом заготовил краткую, похожую на рапорт бумагу и отделялся ею. Особенно тяжелое объяснение было со следователем Антоном Пестеревым. Он шибко дорожил честью работника правосудия и, казалось ему, все и всех знал, видел насквозь.

— Как вы, милиционер, человек в годах уже и со стажем, могли стрелять в молодяжку, еще и жизни не видавшего, неужели не могли с ним справиться, задержать без выстрелов и крови? — прокалывая Сошнина узким лезвием глаз, явно подражая какому-то несокрушимо-му, железному кумиру, цедил сквозь зубы Пестерев. Федя Лебеда исхитрился усмыгнуть от объяснений — старший по патрулю кто был? Сошнин. Вот и отчитывайся, майся. Леонид сперва сдерживался, пытался что-то объяснить Пестереву, потом вскипел:

— Да за одну молодую мать с ребенком!..— Он прикрыл глаза, отвернулся.— Растерзанные... пыль, кровь, замешано... багровая

грязь. Я в любого, но с особым удовольствием в тебя всажу целую обойму!

— Псих! — сорвался следователь. — Ты где находишься? Как ты в милицию попал?

— Потому и псих, что ты слишком блаженно живешь! — Сохранилось, все же сохранилось мальчишество в Сошнине. Он похлопал Антона Пестерева по форменному мундиру работника правосудия: — Это тебе не мама родная! От этого покойника, землячок, полсоткой не откупишься! — Да с тем и ушел, озадачив борца за справедливость до того, что он звонил Сошнину, домогаясь — что за намеки?

Родом из деревни Тугожилино, Пестерев забыл, что всего в трех верстах от его родной деревни, в сельце Полёвка, жила теща Сошнина, Евстолия Сергеевна Чащина, и она-то уж воистину знала все и про всех, может, не во вселенском, даже и не в областном масштабе, но на хайловскую округу ее знания распространялись, и от нее, от тещи, Сошнину сделалось известно, что в Тугожилино четыре года назад умерла Пестериха. Все дети съехались на похороны, даже и невестки, и зятья съехались, и дальние родственники пришли-приехали, но младшенький, самый любимый, прислал переводом пятьдесят рублей на похороны и в длинной телеграмме выразил соболезнование, сообщив, что очень занят; на самом же деле только что вернулся с курорта Белокуриха и боялся, как бы радон, который он принимал, не пропал бесполезно, не подшалили бы нервы от переживаний, да и с «черной» деревенской родней знаться не хотелось. Родня, воистину темная, взяла и вернула ему пятьдесят рублей да еще и с деревенской, грубой прямоюй приписала: «Подавился, паскуда и страмец, своими деньгами».

Вернувшись из больницы на костылях в пустую квартиру, он залез на диване и пожалел, что не выучился пить, — самое бы время.

Наведывалась тетя Граня, мыла, прибирала, варила, ворчала на него, что мало двигается.

Пересилился, начал снова читать запойно, к бумаге потянуло — разошелся на объяснительных-то! В этой, непонятной еще, но увлекательной работе забылся. Он и раньше, еще в школе, писчебумажным делом занимался — обыкновенный в общем-то, даже типичный путь современного молодого литератора: школьная стенгазета, многотиражка в спецшколе, заметки, иногда и в «художественной» форме, — в областных газетах, милицейский, затем и другие тонкие журналы, на «толстые» пока не тянул и сам это, слава богу, создавал.

«Может, мне к Паше поехать? У Паши хорошо!» — вяло думал Сошнин, заранее зная, что ему куда не уехать. Шевелиться, за почтой вниз сходить — и на то нет сил, но главное — желания...

Паша — человек, способный улагодворить, умиротворить и накормить весь мир. Это про нее Пушкин сочинил: «Кабы я была царица, — говорит одна девица, — то на весь крещеный мир приготовила б я пир...»

После первого боевого крещения и крена семейного корабля набок Сошнин от смутения, что ли, от пустопорожности ли времяпрепровождения решил пополнить образование и затесался на заочное отделение филфака местного пединститута, с уклоном в немецкую литературу, и маялся вместе с десятком местных еврейчат, сравнивая переводы Лермонтова с гениальными первоисточниками, то и дело натываясь на искомое, то есть на разнотения, — Михаил Юрьевич, по мнению вейских мыслителей, шибко портил немецкую культуру. В пединституте Сошнин впервые услышал слово «целевик», смысл которого граждане нашей страны, исключая разумные головы из Академии педагогических наук, до конца так и не постигли. Между тем «целевик» — слово, совершенно точно обозначающее смысл предмета: это абитуриент, присланный в высшее учебное заведение и принятый на льготных основаниях с целью и обязательством вернуться в родную сельскую местность на работу. О том, сколько и как возвращается в родную местность «целевиков», особо «целевичек», — знает всезнающая статистика, да молчит в смущении.

На стадиончике, примыкающем к пединституту, пробитому там и сям зелеными прутьями кленовых поконов, Сошнин играл в городки. На месте стадиона был когда-то патриарший пруд, с карасями, кувшинками, лилиями и могучими деревьями вокруг. Борясь с мракобесием сановных, исторически себя изживших церковников, деревья свалили, воду вместе с карасями засыпали шлаком и землей, вынудив из-под фундамента новостроек, но оно же, проклятое прошлое, прилипчиво, живуче, оно из-под земли, из-под притоптанных и прикатанных недр стадиона, из пней, плотно закопанных, давало о себе знать, нет-нет, пусть и украдчиво, втихомолку, посылало в ясноглазую современность вестников весны, напоминало о себе живучей ветвью тополя или клена, меж которых по шлаком присыпанной дорожке, остро выставив локти, бегали будущие гармонично развитые педагоги, тренируя гибкость тела и крепость мышц.

Поскольку Сошнин охромел, его определили соревноваться в наземных играх, и он азартно швырял струганые палки, вышибая то «бабушку в окошке», то «змею», то «домик», и однажды увидел в уголке стадиона мужичьего телосложения деваху с неприятзательно рубленным, но румяным и здоровым лицом, на которое спадали коротко стриженные волосы толщины и цвета ржаной соломы. Девка собирала волосы на затылок старомодной костяной гребенкой и одновременно стягивала с себя лыжные штаны, рвала пуговицы на кофте, нетерпеливо постанывая и сопя расширенными ноздрями. На ходу подтянув трусы футбольного покроя, со свистом вобрав в себя побольше воздуха,

девка вышла на беговую дорожку и замерла в ожидании старта. Сквозь мужскую майку, распертую телом до прозрачной тонкости, четко обозначался бюстгальтер, завязанный на спине морским узлом, потому как пластиковая застежка не выдержала напора скрытых сил, лопнула и болталась без нужды. Ясное дело, только крепким узлом и можно было сдерживать силы в чугунных цилиндрах груди с ввинченными в середку трехдюймовыми гайками. Те гайки, подика, не раз и не два отвинчивали передовые сельские механизаторы, но даже резьбу сорвать не осилились, не укротили мощь могучего, все горячее распляющегося перед бегом механизма.

— И-и-ех, глистогоны-интеллигенты! — рывкнула девка, когда поравнялись с ней трусой трюхающие, подзапахавшиеся молодые спортсмены, бледно-серые от табака, ночных свиданий и жидкой студенческой пищи. Грудь у девки закултыхалась, зад завращался тракторным маховиком, ноги, обутые в кеды сорок второго размера, делали саженные хватки, лицо ее было вдохновенно, воинственно, вся мелкота, перебирающая ногами по земле, по захороненному патриаршему пруду, разлетелась на стороны мошкой и осталась позади.

Не зная, что такое финиш, девка промчалась мимо него и бог весть куда бы убежала, если б на пути ее не оказался забор стадиона. Вот что такое была Паша! Бог и фамилию ей определил в соответствии с материей — Силакова. Какой-то тренированный спортсмен, не иначе мастер спорта, поверженный в прах, оправдывался, протирая очки: «Да я бы обошел эту стихийную бабу, но очки запотели». Паша Силакова, снисходительно похлопав по плечу знатного спортсмена, предложила: «Может, еще попробуем?»

С того и родилась знаменитая институтская песня: «Я б и кашу сварил, я б цветы подарил, я б любил тебя смертно и верно». Припев: «Да очки запотели». «Я бы сдал сопромат, поступил на физмат. Я бы взял все высоты науки. Да очки запотели...»

Дела у «целевички» Паши Силаковой в институте шли не так бойко, как на стадионе. Она и в своей-то, починковской школе никого по наукам не обгоняла, все больше догоняла. Работать бы ей на колхозной ферме, быть ударницей труда, почитаемым человеком, многодетной матерью, да ее родная мать, молодость, жизнь, красоту и силу изработавшая на колхозной ферме, узнав про дополнительный набор в пединститут, сказала: «Поезжай, учись на ученую, много денег получать станешь, в люди выйдешь, не будешь, как я, веки вечные в назъме плюхаться».

Очень и очень хотела Паша Силакова стать ученой, не спала ночами, тупела от наук и городской культуры, смекнула своим деревенским многоопытным мужицким умом, как достичь цели: возила в общепитие картошку, молоко, мясо из деревни, убиралась в комнате, стирала аристократкам с филфака бельишко, гладила, и те, курящие сигареты с долгими мундштуками, понимающие толк

в коньяках, коктейлях и сексе, наизусть знающие названия иностранных наклеек на заднюю импортных джинсов, из которых самая ценная была «монтана», насмеялись над Пашей, помыкали ею. Мадам Пестерева, читающая в институте классическую русскую литературу, приспособила Пашу в домработницы.

Супруги Пестерева домашними делами не занимались, не пачкали рук, жили по правилам и запросам высокоинтеллектуальных личностей: баловались теннисом, купались в прорубях, ездили на коллективные охоты, оба лихо водили личную «Волгу», небрежно вертя руль одной рукой и выставив локоть за окошко. В «Волге» чехлы из какого-то мохнатого существа — из меха ламы, объяснили Пестеревы, за задним сиденьем, как у богатого кавказца, катался пестрый мяч, перед передним стеклом, опять же, как положено состоятельным, понимающим культуру особам, подвешена экзотическая ширококоротая обезьянка в красных трусах; по стеклу ярко написано: «Эспано — уэрто — командорос».

Женившись еще в студенческие годы на дочери директора вейского льнокомбината, Антон Пестерев имел на троих четырехкомнатную квартиру, содержал местный «салон» и собирал в нем по вечерам «высший свет» города Вейска. Одна из комнат супругами Пестеревыми была превращена в некую разновидность гостиной, игорную залу и дешевенький музей, на стенах которого висели абстрактные полотна, гравюры, несколько дорогих полуфривольных чеканок с русалками, пара прялок, пара лаптей, репродукции с пикантных полотен Сальвадора Дали. Вечерами в зале чуть приглушенно, интимно звучали по японской радиозаписывающей системе модные записи «из оттудова», ну и наши, необходимые в модном салоне модные поэты: Высоцкий, Окуджава, Новелла Матвеева; на инкрустированных полочках — Евтушенко, Вознесенский, Ахмадулина, Аполлинер, Дос Пассос, Хименес, Ли Бо, далее Пикуль, Сименон и Апдайк, меж ними библия дореволюционного издания, молитвенник с золотой застежкой, «Слово о полку Игореве» в подарочном издании и нарядный словарь Даля в четырех томах.

Мадам Пестерева развлекала своих гостей рассказами о Паше Силаковой и устраивала потеху в студенческих аудиториях.

— Ну-с, молодой человек, — старомодно обращалась она к студентке, словно к существу мужского пола, поставив ее перед публикой по команде «смирно». — Что вы можете рассказать о роковых заблуждениях Николая Васильевича Гоголя?

И скорый, радостный, изготовленный по подсказкам сокурсниц следовал ответ Паши Силаковой:

— Мистические настроения Гоголя, навеянные ему отцами церкви с их мрачной и отсталой философией, привели и не могли не привести к духовному краху великого русского писателя. В результате этого краха он сжигает второй том «Мертвых душ», который, впрочем, был

слабее первого тома оттого, что оказался пропитан растленным духом церковников, скрывающихся в катакомбах и мрачных закоулках Оптиной Пустыни и прочих притонах воинствующих мракобесов...

— Так-так. Вы, конечно, прочли второй том и оттого так уверенно его отрицаете?

— Нет. Все это нам рассказывала еще в селе учительница литературы Эда Генриховна Шутенберг, и девочки мне помогли. Заучить.

— Ссылная учительница?

— Да. Но она потом исправилась, была восстановлена. И орденосец даже сделалась.

— Может быть, она даже заслуженной учительницей стала?

— Да. Я забыла сказать. И заслуженной.

— И она вас, деревенских учащихся, приучала к самостоятельности мышления?

— Упорно приучала. Настойчиво. Много сил положила на это дело.

— Ну, что ж, — едва заметной улыбкой, блуждающей по лицу, мадам Пестерева призывала в свидетели аудиторию, продолжая показательный спектакль, предлагая простодушной Паше Силаковой «исследовать эпоху Пушкина» и даже подталкивала ее кивками головы и «наводящими» репликами на нужное направление. И Паша вдохновенно обличала высший свет и пагубную эпоху, в которых великий поэт и мученик погряз, крыла графа Бенкендорфа, саркастически сокрушала царя, критикуя его, будто пьющего бригадира на колхозном собрании, резко и беспощадно, и заключала, что ничего другого, как «погибнуть на благородном поле брани», великому поэту и не оставалось, «интриги, придворные интриги погасили светоча русской поэзии...»

— Здорово вы их! — качала головой мадам Пестерева. — Ну, что ж, давайте зачетку. Не каждый день даже в стенах нашего института так вот досконально анализируют поведение классиков.

Лерка, жена Сошнина (ныне, как и полагается по современной моде, они в разводе, судом еще не оформленном), училась с Пашей Силаковой в старших классах починковской школы. Она узнала, что вытворяют в институте над добрейшим человеком, дед и отец которого перепахали плугом полрайона, перекопали окопов намного длиннее, чем супруги Пестерева обошли и объехали курортных и туристических дорог, да еще ученая дама превратила девку в домработницу.

— Это что? Это вот как? — орала Лерка, человек маловыдержанный. — Хулиганов вяжете! В вытрезвитель пьяниц тянете. А это, это что? Когда над нами, деревенскими, перестанут глумить я новоявленные аристократы?!

— Не ори ты и на бога меня не бери! Давай думать, как девку спасать.

Придумали перевести Пашу в ПТУ сельскохозяйственного направления, учиться на механизатора широкого профиля. Паша в рев: «Хочу быть ученой! Ну, пусть хоть переведут в училище дошкольного воспитания, раз я тут осилить не могу...»

Сошнин взял Пашу Силакову за руку и отвел к ректору пединститута домой, к Николаю Михайловичу Хохлакову, известному книголюбу, у которого и «пасся» в библиотеке Леонид с тех времен, когда, вернувшись из заключения и не подыскав еще работу, тетя Лина стирала и убиралась в доме профессора.

Николай Михайлович — по облику типичный профессор. Грузен, сед, сутул, носил просторную вельветовую блузу, не курил табак, не пил вина. Пыльными книгами до потолка забита четырехкомнатная квартира, и все это, как и рассчитывал Леонид, произвело на Пашу Силакову большое впечатление. Когда Николай Михайлович объяснил ей, что для современного ученого она слишком прямодушна, да еще добавил, что сельский механизатор ныне зарабатывает больше ученого-гуманитария, Паша махнула рукой:

— Не всем ученым быть. Надо кому-то и работать. Где у вас поганое ведро? — И, задрал подол, начала мыть пол, протирать мебель, книжные шкафы в квартире недавно овдовевшего профессора, крича при этом на весь «ученый» дом: «Я! Ты! Он! Она! Вместе будет вся страна!..»

Пока не освободилось место в общежитии, Паша и жила у профессора, иногда навещала Сошнина, еще с порога хайлая возмущенно: «Ну и засвинячился ты, братец-кондратец!»

Училась Паша в ПТУ хорошо, сделалась выдающейся на всю область спортсменкой, в метании диска побила все местные рекорды, даже ездила на зональные соревнования и на Спартакиаду народов СССР в столицу, после возвращения из которой Сошнин едва ее узнал. Прекрашенная в золотой цвет, с шапкой завитых, да и не завитых, а прямо-таки взвихренных волос, с засиненными веками, в джинсовом костюме, в сапогах «а-ля мушкетер» Боярский, явилась Паша в родные края, бурная, все сокрушающая, с сигаркой в зубах.

— Знай наших! Поминай своих! Мы, деревенские, можем вести себя похлеще лахудров с филфака!

«Э-э, — затосковал Сошнин, — этак дело пойдет — деревня лишится еще одного хорошего работника, город приобретет зазвонистую хамку». И с помощью все того же Николая Михайловича и Лерки спровадил Пашу на центральную усадьбу родного починковского колхоза «Рассвет», где она работала механизатором наравне с мужиками, вышла замуж, родила подряд трех сыновей и собиралась родить еще четверых, да не тех, которых вынают из чрева с помощью кесарева

сечения и прыгают вокруг: «Ах, аллергия! Ах, дистрофия! Ах, ранний хондроз...»

— Мои мужики на земле работать будут, в моря ходить, в космос летать. — И, слабое существо, мать и женщина, со вздохом добавляла Паша: — А все ж хоть бы один, как Николай Михайлович, ученым сделался...

И ты меня не увезешь. И я, наверно, не уеду. А тройка? Тройка — это ложь! И я давно не верю деду, — пробормотал Сошнин, все лежа на диване и радуясь, что поезд на Хайловск прошел, до завтра не будет туда okazji, кроме автобуса, на автобусе же трястись в такую погоду боевые раны не велят. Вот завтра или послезавтра укрепитесь духом и поедет к Паше в гости, может, и до тещы с тещей доберется — от Починка до Полёвки рукой подать. Надо бы Лерке позвонить. Давно не звонил. Да ведь по голосу догадается, что опять что-то стряслось с человеком.

И это терпит.

Итак, на чем же мы остановились? На противоречиях жизни? Почему люди бьют друг друга? Какой простой вопрос! И ответ проще простого: «Охота, вот и бьют...»

Начальник Хайловского райотдела УВД Алексей Демидович Ахлюстин, мыслитель и боец, говаривал: «Половина людей на земном шаре нарушает или собирается нарушить, другая половина нарушать не дает. Пока равновесие. Дальше может наступить нарушение баланса...»

«А Лерке все ж надо позвонить. Что она там? Как?» Сошнин повернул руку с часами к свету, тускло сочащемуся из давно не мытого окна, из-за пузато вспученного «гардероба», — полпятого. Лерка кончает работу в шесть. Пока за Светкой в садик зайдет, в магазин, туда-сюда, раньше восьми нечего и думать звонить. На работу разве? Но там же бабье! Изнывающее в белой аптеке от белого безделья, от запаха лекарств, дурманящего плоть и ум. «Твой!» — зашебутаются возбужденные бабы умы. «Денег занять хочет», «По ласкам соскучился...», «Об ребенке родном вспомнил...»

«У-ух, бабы, бабы! Без вас прожить бы кабы. Во, стихи пошли! Сами собой! Как у Маяковского. Может, даже лучше...»

Притягивала к себе глаз, тревожила рассудок могучая туша «гардероба», в сутеми явственно напоминающая фигуру бессмертного Собакевича. Из-за него, из-за этого «гардероба», супруги Сошнины разбежались в последний раз, точнее, из-за тридцати сантиметров — ровно настолько Лерка хотела отодвинуть «гардероб» от окна, чтобы больше попадало в комнату света. Хозяин, зная, как она ненавидит старую квартиру, старый дом, старую мебель, в особенности этот добродушный «гардероб», как хочет свести его со свету, стронуть, сдвинуть, тайно веруя: при передвижке он рассыплется, историческую

мебелину можно будет пустить в печь, — оказал сопротивление, а сопротивление, знал он по службе, чревато «последствиями».

Мгновенный вспыхнул скандал, крик, слезы, и в такой же непогожий вечер, схватив за руку ребенка, Лерка ушла в общежитие фармацевтического института. Вторично умчалась. Как зав. аптекой, скорей всего при содействии Леонидова друга, приятеля детства, ныне большого начальника, Володи Горячева, бедствующая мать с ребенком переехала в дом гостиничного типа, в девятиметровую комнату, где есть все условия для жизни: туалет, мойка, кран, метла, диванчик, стол и телевизор, а он, значит, остался «на просторах», царствует в своей квартире, наслаждается свободой, и «гардероп» стоит, что скала. «Стоит! И стоять будет!» — почти торжественно, как Петр Великий о России, сказал Сошнин про «гардероп».

Мысль о Лерке не угасала, наоборот, подступала ближе. Как на душе смута — она тут как тут, во прилипчивый человек! Баба! Жена. Крест. Хомут на шее. Обруч. Гиря. Канитель земная.

Глава пятая

Город Хайловск, куда направили работать Сошнина после окончания школы УВД, — типичный в общем-то райцентр на пятнадцать тысяч голов населения, довольно спокойного, в основном сельского. Промышленность здесь была лесная, кудельная и сельскохозяйственная. Беспokoил порой и будоражил городок, стоявший на отшибе, текстильный техникум да межзональный дом отдыха лесозаготовительной отрасли. Иногда, очень редко, Хайловск сотрясали отзвуки современного прогресса. Сотрясения катились в основном по железной дороге, подле которой ютилась небольшая, с дореволюционным деревянным вокзалом станция Хайловск, о восьми путях, в любое время года забитых вагонами, груженными круглым лесом, доской и брусом — продукцией местного леспромхоза.

Но вот зачастили в Хайловск важные чины. Сперва небольшие, сдержанные, немногословные, потом покрупней, посolidней, еще более сдержанные. Дело кончилось тем, что на восьмой путь было поставлено несколько вагонов, в которых жила трудовая солдатня с лейтенантом во главе. За три с небольшим месяца боевой военный отряд отгрохал в центре Хайловска двухэтажную гостиницу, повеселил городишко и, оставив двух-трех вдовушек в безутешном горе, отбыл в неизвестном направлении.

Гостиницу долгое время населяли отпускники и командировочные. Нагрянул как-то уроженец здешних мест, видный конструктор, у него автомат был излажен в виде многозарядной автоматической зенитки, прозванной фронтовиками «дай-дай». И от той зенитки, как ты ни летай, как ни бегай, — никуда не улетишь и не убежишь.

Словом, гостиница досталась городу. И вот в этой-то гостинице суждено было Сошнину прославиться на весь Хайловск и окружающие окрестности. Жители Хайловска существовали в своих домах, гости их и родственники, приезжая в отпуск, жили там же. Гостиничные номера заселял богатенький, разбитной уполномоченный, нацеленный на хайловскую лесопroduкцию, солнечной летней порой ревизор из Минлесхоза или из «Сельхозмеханизации», дитя кавказских гор с дарами солнечного, плодородного юга: помидорами, цветами, фруктами,— осчастливливал здешний рынок, заросший крапивой и бодягом, куражливый журналист местной прессы сотрясал телефоны «люкса», собирая материал по передовому опыту переработки льна и использования лесоотходов; поэты и художники налетали чаще всего артельно.

Вот в гостинице завертелись «химики». Началась картежная игра: «гадалки», «пулеметы», «библия», «колотушки», «альянцы», «сонники», «стирки» — как только карты не называли. Зазвенели гитары, взвизгнули в ночи женщины, заскорготали зубы, послышался лязг битого стекла и кинжальный звон. «Кабел, демон, угол, индия, бал, играть на рояле, чмок-шпок, гладенько, задок, залепить хаверу, чос, бацильный, духовой, ежик, кучер, шнифер» — слова-то, слова-то все какие! Музыка! Зарешеточная, на тюремных нарах сотворенная словесная продукция пугала тихий, за лесами, за болотами живущий хайловский люд.

Но вот явился в Хайловск Демон! В соседней области прибил ломом инкассатора, «взял на хомут» — так это называется — сорок тысяч «рваных» и пистолет. «Вооружен и очень опасен» — как раз в ту пору шла кинокартина с таким названием в Доме культуры работников леса.

Сошнин не от картины, нет, скорее от физического и душевного застоя, заранее дрожа и подобравшись, решил: «Возьму! Когда еще в Хайловск пожалует Демон. Настоящий...»

По телефону из областного угрозыска приказывали не соваться не в свое дело, до приезда оперативной группы ничего не предпринимать, но с преступника глаз не сводить. Но Демон, «печальный Демон — дух изгнанья», — вдруг в небеса вознесется!..

Тонкую операцию замыслил Сошнин. Как раз на город Хайловск хлынула спортивная орда. Дом отдыха, общежитие техникума, гостиница забиты под завязку. Городок цветет синими штанами, шапочками с иностранными буквами и знаками. Соревнования, эстафеты, шум, многолюдство — очень это важный фактор! Пригласив двух дружинников из леспромхоза, Сошнин переоделся в гражданское и во время обеда «подселился» с раскладушкой в номер грабителя. И, когда злодей пришел и, увидев постороннего человека, напрягся и начал бледнеть, не давая ему ни минуты на раздумья, молодой детектив, читавший книжку технического толка,— для

маскировки такую книжку подобрал,— соскочил с раскладушки, представился:

— Инженер Зверев.— И фамилия-то, фамилия в миг, кстати, подходящая, явилась.— Все места в гостинице заняты. Физкультура и спорт. Всегда готов. Извините. Подселили...— И, как только в протянутой руке ощутил руку Демона, зажал ее, вывернул, и... бандит и ахнуть не успел, как на него мильтон насел!..

Начальник угрозыска города Вейска, седой, подслеповатый, но весь вроде бы сложенный из мускулистых, крупногабаритных деталей, объяснил Сошнину всю его глупость: сотрудник милиции малого городишка — да его собаки и те не только в лицо, но и на нюх знают! «Самбист. Бывший чемпион спецшколы по боксу! А откуда тебе известно, что Демон — не чемпион страны по вольной борьбе? Может, по всем видам спорта чемпион, включая фигурное катание?! Ты изучал его биографию? Силу? Реакцию? Гастролер он, матерый кучер или портяночник? Баклан? Тумак? А если б матерый? Да он бы тебе разделал, как киевский мясник! И собирали бы тебя по частям в морге, чтоб прилично выглядел в гробу...»

Но как бы там ни было, народ-то узнал о «подвиге», и выходило, что не начинающего гастролера скрутил Сошнин, брал он двоих опытных убийц, и были у них не пистолеты, по автомату было, и одного бандита Сошнин известным лишь ему приемом выбросил в окошко со второго этажа, чтоб не путался под ногами, со вторым-то ему и труда не составляло управиться!..

На улицах и в общественных местах Хайловска слышал герой-детектив вослед себе: «Тот самый!» И не только из техникума, даже приезжие девчата начали глядеть на него с пристальной заинтересованностью и что-то выдающееся находили в его облике, потому как норовили спросить именно его про расписание поездов и автобусов, когда буфет откроется, какая будет завтра погода, придавая голосу воркование, заводя глаза под зачерненные ресницы.

Сошнин просил устно и письменно свое руководство перевести его куда-нибудь, желательно подальше от Хайловска. Ему обещали «подумать», но тут нанесло на младого героя не менее жуткую, чем вооруженный бандит, опасность...

Дожив до двадцати двух лет, Лерка ни с одним еще парнем не дружила — она отпугивала кавалеров высокомерным видом и какой-то свертехнической оснащенностью тела. Скуластенякая, вся в локтях, в коленях, в лице, в руках, в ногах, в груди, даже вроде бы и в зад у нее были колени и локти, и все это заведено двигалось, стремительно, выразительно, даже и нахраписто, все вертелось, в таком даже месте, где у других людей вертеться нечему. Говорила Лерка резко, точно, кратко; на мир глядела так, будто все в нем уже давно не только знала, но и прошла еще в школе и ничего в этом мире никакого ее внимания не заслуживает. При всем при этом Лерка была кокетлива,

ходила «на тырлах», как говорят блатняки, ручки полусогнутые, словно у заводной куколки, навьючивала немислимые прически, натягивала какие-то сверхмодные платья, косынки, шляпки, в последнее время — тугие, узкие джинсы и гарибальдийскую пышную косынку, узлом схваченную на горле. Хайловские кавалеры прозвали Лерку «примадонной» и прохаживались по перрону в «ее стиле», вертя всем, что у кого может вертеться, но близко к Лерке не подступали — и без нее хватало «кадров».

Пристальное, практическое внимание на Лерку обратили «химики», приняв ее за халяву. Лерка училась в Вейске на фармацевта, на выходные приезжала к родителям, в деревню Полёвку — это двадцать километров от Хайловска, в девяти верстах от Починка — центральной усадьбы колхоза, и, когда дожидалась автобуса в родные края, «химики» откололи ее от публики, подпятили к забору и между киоском «Союзпечати» и филиалом леспромхозовской столовой давай снимать с нее штаны. Штаны-то джинсы, их не так-то просто и по доброй воле сдернуть, а при сопротивлении время и сноровка надобны. Сошнин, на свою беду, как раз приехал с лесоучастка, где целую ночь умирал лесорубов после получки. Выйдя из поезда, отбил барышню, увел ее в дежурную комнату, где ее долго отпаивали водой.

— Люди на остановке! Советские, наши, здешние — и никто, никто не заступаете!.. Подлые!.. Подлые!.. Все подлые! — в истерике кричала Лерка.

Конечно, подлые. Кто ж станет отрицать или спорить? И люди на остановке, и «химики» — это уж само собою, но вот автобус на Починок ушел и будет только завтра утром. Что делать?

Бессонная ночь позади. Спать охота — спасенья нет. Молодой организм отдыха просит. Брюзгин, сотрудник ЛОМа, удалит барышню из дежурки сразу же, как уйдет с вокзала Сошнин, потому как жена у него сто кило весом, ревности же в ней на все двести, и проверяет она поведение сотрудника ЛОМа через каждые два часа. В вокзале по скамейкам валяются друзья «химиков» или на них похожие кореша, раздумывая насчет условий вербовки: соглашаться им в Хайловский леспромхоз или в глубь страны подаваться? Пришлось брать Лерку к себе, в холостяцкую комнату, выделенную Сошнину в леспромхозовском общежитии. Он бросил шинель на пол, в голова свернул казенный бушлат, укрылся плащом, указал барышне на казенную кровать с пружинами, звенящими, что арфа, и только донес голову до изголовья — канул в непробудное, сладкое царство.

И не возвращается бы ему из того, все утишающего, блаженного царства в вечно жужжащее общежитие, в узенькую комнату с казенной желтой занавеской на окне, отмеченной черной, жирной инвентаризационной печатью, с казенной кроватью, накрытой простыней, тоже с печатью, с чайником без крышки и без печати, с эмалиро-

ванной кружкой, с гнутыми столовскими вилками, с чемоданчиком в углу и стопкой книжек на подоконнике.

Он продрал глаза и с удивлением увидел: на казенной койке, звучащей, как арфа, скатившись головой с плоской, отходами кудели набитой подушки, спала барышня, совсем не похожая на ту, какую она изображала из себя на людях. Она ровно дышала чуть приоткрытым алым ртом, и что-то совсем далекое от грубой действительности снилось ей, верхнюю губу, помеченную пушкой, трогала легучая, даже мечтательная улыбка, чуть вздрагивали сомкнутые ресницы, румянец облил щеки, и не суетились руки-ноги барышни, ничего не суетилось, не дрыгалось, все было подвялено, усмирено доверительно-глубоким сном. Солнце, в радостном ослеплении пляшущее сквозь занавески на спящую девушку, поигрывало, дразнилось, щекотало ее. Форсистые джинсы Лерка сняла — кочегарили, не жалея лесоотходов, по-зимнему, хотя стояла осенняя пора, исход бабьего лета был, девушке сделалось жарко от солнца и сыро шипящих батарей отопления, она сбросила пальтишко на пол, колени ее пригодились и оказались совсем не острые, не задиристые, а круглые, чисто белеющие натянутой кожей, и пятнышко солнца ластилось, скакало котенком по коленям гостыи.

Сошнин замахнулся, чтобы прикрыть гостью одежкой, и в этот роковой момент дернуло ее проснуться. Она с виноватым испугом осмотрелась: «Где я?» — и тут же вспомнила, где, улыбнулась, утерла губы, в забытыи потянулась:

— Крепко спится под защитой родной милиции! — И потрепала его русые, вчера только в леспромхозовской бане с шампунью вымытые волосы. — Шелковые! — сказала голосом, вдруг упавшим до всхлипа.

Что можно ждать от хорошо отдохнувших молодых людей! Одних только глупостей и ничего больше.

И стала Лерка все чаще и чаще задерживаться меж городом и селом, осуществляя смычку в буквальном смысле этого неблагозвучного слова. Дело дошло до погубления выходных — неинтересно сделалось Лерке проводить воскресные дни в родной полуопустевшей Полёвке, под родительским кровом. Дело кончилось тем, чем оно и должно кончаться в подобной ситуации, — явились молодые люди в Полёвку, созревшие для добровольного признания, с повинной. Как лицо служебное, милицееское, Сошнин привык знакомиться с разным народом, чаще всего тут же забывая знакомства, но в Полёвке дела обстояли иначе. Евстолия Сергеевна Чащина подкрасила губы, надела новый строгий костюм в полоску, капроновые чулки и туфли анисового цвета. Сошнин думал, в честь какого-то праздника, может, дня рождения чье-то, выяснилось же — в честь их приезда. Улучив момент, Евстолия Сергеевна увела гостя в огород, показывать,

какие у них парники, ульи, какая баня, колодец, и там напрямик заявила: «Я надеюсь, мы, интеллигентные люди, пойдем друг друга...»

Сошнин заозирался, отыскивая по огороду интеллигентных людей, — их нигде не было, и начал догадываться, что это он, Леонид Викентьевич Сошнин, и Евстолия Сергеевна Чащина и есть интеллигентные люди. Очень его всегда смущало это слово. На деревенском же огороде, в полуразвалившемся селе — просто ошарашило. Он заказал себе: медовуху, как бы его ни принуждали, больше не пить и при первом удобном моменте из Полёвки умчаться на милицейском мотоцикле.

Евстолия Сергеевна испуг гостя истолковала по-своему и уже без ласковых оттенков в голосе, безо всякой бабьей вкрадчивости поперла насчет того, что дочь у нее — человек исключительный, что уготована была ей более важная дорога и ответственная судьба, но коли так случилось — он проявил такое благородство и вообще человек, по слухам, героический, — она веряет ему...

— Зачем же здесь-то? — залепетал «героический человек». — Я готов... При Маркеле Тихоновиче...

— А он-то тут при чем? — изумилась Евстолия Сергеевна. — Содержим его, пусть и на том спасибо говорит.

Вслушаться бы, вслушаться во все ухо в эту непреклонно выраженную мысль, внять ей, а внявши, перемахнуть бы Леониду через городьбу, ухватиться за рога казенного мотоцикла — черт с ней, с фуражкой! Сказать, что сдуло — новую выпишут. Но это тебе не Демона валить! Там все просто: хрясь злодея об пол — и ваша не пляшет! А тут он, как бычок на веревочке, плелся с огорода за Евстолией Сергеевной, потом стоял подле жарко натопленной глинобитной печи, вертел в руках нарядный милицейский картуз: «Вот, прошу, стало быть... Ой, прошу тоись, руки...» Хотел пошутить: «И ноги тоже». А сам все вертел и вертел картуз с горьким чувством человека, приговоренного к лишению свободы на неопределенный срок и без права на помилование... единого милицейского головного убора не успев износить. Чего доброго, еще и икону ко лбу приставят! И заступиться некому: ни отца, ни матери, даже тетки нет, — круглый он сирота, и что хотят, то с ним и делают...

Властвовала в доме Чащиных Евстолия Сергеевна. Судя по карточкам, газетным вырезкам и рассказам, прожила она довольно бурную молодость: ездила в сельском агитпоезде, в красной косыночке, тревожила и будоражила земляков не только речами, за «перегиб» была брошена на хайловскую кудельную фабрику, даже фабричонку, в качестве профсоюзника, но по очередному призыву вернулась на прорыв в родное село, ведала избой-читальней, клубом, было время, когда ее бросали даже на колхоз — председателем. Но

к той поре работать она совсем разучилась, да и не хотела, и ее все время держали на должностях, где можно и нужно много говорить, учить, советовать, бороться, но ничего при этом не делать.

Безответный, добрейший тесть Сошнина Маркел Тихонович Чащин потянулся к зятю, как те родители, что потеряли ребенка в блокаду и, пусть в зрелом возрасте, отыскали его. Все, что мог и хотел бы дать сыну Маркел Тихонович: любовь, тепло сердца, навыки в сельском, глазу не заметном труде, ремесла, так необходимые в хозяйстве, — все-все готов был тесть обрушить на зятя. И Леонид, не помнивший отца, возвращенный пусть и в здоровом, но в женском коллективе, всем сердцем откликнулся на родительский зов. И какая же просветленная душа открылась ему, какой истовой мужской привязанностью вознаградила его судьба!

Сошнин именовал тестя папашей. Маркел Тихонович имел от этого в душе торжество, потому как тещу зять звал только по имени-отчеству. «Они», «она», «эти», «сама», «их» — это лишь краткий перечень междометий, с помощью которых Маркел Тихонович обращался со своими домашними, называть жену и дочь собственными именами он избегал, длинно получалось, тем более что у дочери было имя «не его», он желал назвать ее Евдокией в честь своей бабушки, но жена, взбесившаяся от культуры, нарекла ее Элеонорой — вот и пользуй его, такое имя, каким только корову или козу можно называть.

Евстолию Сергеевну за суету, табак и матерщину не терпели пчелы: Маркел Тихонович держал три семьи — для домашности. И стоило жене выйти в огород, в углу которого под дуплистыми липами стояли ульи, он тут же отворял леток, и пчелы загоняли хозяйку либо в нужник, либо в сенцы. В бане Маркел Тихонович мылся один, не пускал супругу на покос — истопчет, измочит сено, корова исти его не станет, пилил дрова в одиночку, не слушал жену, когда она жаловалась на хвори, смотрел по телевизору «развратные», по разумению Евстолии Сергеевны, передачи: фигурное катание и балет, и, как можно было догадаться, давно не выполнял мужских обязанностей. Уязвленная супруга следила за ним и будто уже не раз «застукала» старого блудника, который с другими бабами «делал, че хотел».

— У меня из рук, Левонид, ниче не выпадаст, меня тятя, царство ему небесное, с детства всякой работе обучил, потому как в деревне без рукомесла нельзя, рукам махать и речи говорить — трибунов на всех не наберешься! На войне, в раздорожье, кому обутку почино, кому бритву направлю, повозку подлатаю, колеса обсоюзу, втулку там, ось, оглобли ли вытешу, сварить че — суп, кашу, картошки, коня обиходить, сруб в землянке сделать, дзот покрыть — все мне по руке. На фронте, Левонид, слова ниче не стоят, потому как на краю ты жизни. Хоть верь, хоть нет, Левонид, меня Тихоновичем в роте звали, не из-за

старости, не-эт — я в самой середке мушшинских годов был, исключительно из уважения звали, из уважительности, медаль мне первому в роте задана была, когда медали ишло мешком на передовую не возили... И вопше, маракую я, Левонид, нашей державе честные трудовые люди нужны, а не говоруны и баре. Пустобрехи, вроде моей бабы, проорали деревню. Война и пустобрехи довели до того, что села наши и пашни опустели.

Почувствовав союз двух мужчин куда прочнее женского, Евстолия Сергеевна пошла на них приступом, но зять оказался неуступчив, защищал себя и тестя:

— Евстолия Сергеевна! Все претензии, какие есть ко мне и к папаше, высказывайте не в магазине, не на завалинке, а здесь, дома, и больше при мне не унижайте папашу, не сгоняйте его в могилу — без него вы пропадете ровно через неделю...

— Кто это — вы? — взвилась Лерка.

— Ты и твоя мама.

— А ты зачем? Ты муж!

— И я, муж, и вы, жены, пока еще сидим на шее у папаши, да скоро и внука туда посадим...

Мужики уединялись в лесу, пилили весной долготье на дрова, вывозили его, на сенокосе управлялись, в межсезонье на реке сидели, подле удочек и закидушек, либо верши ставили на перекате и в заливах.

— Да что же это такое! Все при деле, мои жеребцы сидят — реку караулят! — базлала на весь белый свет Чащи́ха, спускаясь вдоль ограды к реке с детским ведерком — взрослое ведро она якобы не могла уже поднимать.

Маркел Тихонович из наносного хламу выбрал палку, попримерил ее к руке, молча двинулся навстречу супруге и вытянул ее по широкой спине, да так звучно, что вся округа замерла, будто перед концом света: коровы на лугу перестали жевать траву, овечки затопотили, давая друг дружку, бросились врассыпную; спутанный колхозный конишко с потертостями и лишаями на спине припал к воде, хотя пить ему не хотелось, — ничего не вижу, ничего не слышу — опытный конь.

Чащи́ха, ровно бы вслушиваясь в себя, в мир, ее окружающий, схватила ртом раз-другой воздух и спросила:

— Убил? Меня-а-а убил... — И только собралась заорать, как Маркел Тихонович вытянул ее палкой вторично.

— Я четырежды ранетый. Я в гвардии-пехоте фашиста бил! У меня десять наград в ящшыке! А ты меня при зяте страмотишь! — Хоп да хоп Чащи́ху по спине.

— Милиция!

Сошнин в это время подлещика подсек, повел его, сердечного, к берегу — милиция он на службе, а тут — зять и рыбак и тоже, как

и все советские люди и граждане, имеет право не только на труд, но и на отдых — по Конституции.

Председатель поссовета, старый фронтовик, заранее и во всем солидарный со всеми фронтовиками, получив от Евстолии Сергеевны заявление-акт на своего супруга и бегло с ним ознакомившись, заявил:

— Дивно, как твой муж тебя до се не пришиб? Я бы в первую же ночь супружеской жизни прикончил такую фрукту и в тюрьму бы добровольно отправился.

Дитя, всеми любимое и единственное, Светка какое-то время соединяла семью, да худо Лерка обихаживала дитя, и себя, и мужа — деревенская девка, ничему не наученная пустобрешной мамой, не умела она сварить пустую похлебку, каша манная для ребенка у нее непременно в комках, стирает — брызги на стены, моет пол — лужи посередке, под кроватью пыль, зато травила анекдоты наисмешнейшие, подвизалась в институтской самодеятельности, Маяковского со сцены кричала.

Пока тетя Лина жила да была, от мерзостей быта Лерку избавляла, и с воспитанием ребенка дело шло вперед, хотя и дергалась эмансипированная женщина, не нравилось ей, что тетка наряжает Светку под деревенски, в какие-то капоры, в грубые шерстяные носки собственной вязки, купает в корыте стиральном, стрижет наголо, чтоб волосики крепче были, кормит капустными щами с картошкой. Если уж ее жизнь загублена неразумной связью до брака, так пусть вырастет хоть дитя исключительной личностью, похожей на вундеркиндов Сыркова-совой, чтоб премиями награждалась за рисунки, хоть за хоровое пение, хоть за гимнастические упражнения, чтоб про дочь в газете писали и по радио говорили.

Муж толковал жене: «Медицина утверждает, что здоровье дороже всего, так давай сохраним ребенку хотя бы здоровье». «Как мы это сделаем?» «Это сделает тетя Лина. Гляди на меня и убеждайся, что она это умеет делать хорошо. Нет у меня ни аллергии, ни пневмонии, даже зубы не болят». «Бугай. И жизнь твоя бугайная!..»

Жизнь разнообразна, где найдешь, где потеряешь — угадай наперед! Помылись однажды в городской бане супруги Сошнины, сомделье, душой и телом чистые, благодушные, решили на рынок зайти, изюмчику Светке купить, себе — вятских огурчиков из дубовой бочки. Леонид локоть кренделем загнул, супруга руку в кожаной перчатке ему на согнутый локоть кинула. Идут, толкуют. Счастливые советские люди в воскресный день наслаждаются заслуженным отдыхом, на людей дружелюбно смотрят, и не видит потерявший бдительность сотрудник местной милиции, что под аркой городского базара, где написано «Добро пожаловать», пляшет, поет, ко всем липнет пьяная Урна. Губы у нее обляпаны красным, волосы — рыжим, наплывы рыжей краски видно за ушами и на лбу. Злобно-веселая, тешится Урна, развлекает народ бесплатно. У Сошнина, как

только он заметил Урну, не только в груди, но и в животе все сжалось — случилось ему эту красотку вынуть из «постелей» в привокзальных заулках, возить в вытрезвитель, когда ее еще в вытрезвитель пускали, гонять с рынка, выселять из города.

Урна — тварь злопамятная, мстительная. Она-то еще задала заметила супружескую пару.

— А-а, синеглазенький! — приветствовала Урна молодого человека, будто и не замечая рядом с ним Лерку. — Забы-ы-ыл ты про меня! Совсем забыл! На ентую вот вертикавостку променял! Ай-я-я-а-ай! Изменшьяки вы, мушьяны, коварные изменшьяки! — И, отрывая на Лерку табакком и винищем, пожалобилась: — Не помнят добра, злодеи!

Лерка выдернула руку из-под мужниного локтя, уронила перчатку и побежала с рынка, закрывшись ладонью.

— Оне к Муське, на кирпичный завод повадились! — орала Урна ей вослед. — Гляди-ы-ы-ы! Принесет он те награду...

Дома бурная сцена, закончившаяся схваткой.

— Подлец! — крикнула жена. — Какой подлец! — И хрясь мужа по морде.

Он перехватил руку жены болевым приемом, посадил ее на пол.

— Еще раз... шевельни только лапкой!.. примадонна!..

— О-ой, руку вывихнул, зверина!

— Да ребятки! Да миленькие!.. Да что случилось? — топталась вокруг них тетя Лина.

После смерти тети Лины супруги Сошнины все чаще сбывали Светку в Полёвку, на бабкин худой досмотр и неумелое попечение. Хорошо, что, кроме бабки, был у дитяти дедка, он мучить культурой ребенка не давал, приучал внучку не бояться пчелок, дымить на них из баночки, различать цветки и травы, подбирать щепки, скрести сено грабельками, пасти теленка, выбирать из куриных гнезд яйца, водил внучку по грибы, по ягоды, гряды полоть, с ведрком по воду на речку, зимой снежок огребать, подметать в ограде, на салазках с горы кататься, с живой собакой играть, кошку гладить, гераньки на окне поливать.

Пустота после смерти тети Лины ничем не могла заполниться, но должна же она, по законам физики, чем-то заполняться. Раздражение и темная тоска заселяли пустоту, в темноте же самое место черному злу. Все в жене раздражало Сошнина, даже такие мелочи, как кухонные дела, на которые мужчине и внимания-то обращать не надо бы или обратить их в шутку, ведь за чувство юмора и терпимость, воспитанные тетками — Линой и Граней, его ценили в школе, в спецшколе, на работе — у него иных-то добродетелей и не было.

А Лерку корезило, бесило, что такое ничтожество, выкормыш пристанционного, сажей покрытого поселка, читает дни и ночи книги, еще на немецком языке вроде бы может — брешет, конечно, да и сам

чего-то тайком царапает на бумаге. «Экий Лев Толстой с семизарядным пистолетом, со ржавыми наручниками за поясом...». «Замолчи, примадонна!» «Мусор! Легаш! Пес! Пахла! И как еще там, на языке ваших дорогих клиентов?»

Злой памятью, как и многих современных женщин, бог Лерку не обидел. Литература утверждает: прекрасная женщина частицами разбросана во многих женщинах, плохая и хитрая живет постоянно во всех. Ох, уж эта литература! То совет, то правду скажет. Подсказала бы вот людям: куда же это прекрасное, которого так много в девушках, девается в бабах?

И хорошо, и правильно, что разбежались. Нечего маять друг друга. Наслаждайся покоем, читай, пей чай из горлышка чайника, не давай «гардероп» с места двигать. Можно никуда не ходить, никого к себе не приглашать. Можно пол мыть, можно не мыть. Можно еду варить, можно не варить. Можно ходить по полу босиком и гладить себя по голове, можно бумагу ночами каракулями украшать, не озираясь, никого не стыдясь. Творческая тайна! Да какая же это зараза! Так вот и шевелится что-то в голове, процарапывает крышку черепа мыслишками, они спать не дают, тревожат. Пользуясь полной бесконтрольностью и волей, однажды Леонид поставил на бумаге слово «Рассказ». Сперва испугался: ведь вывел то же самое слово, что и Чехов, и Толстой, потом по привычке. Примадонна глумилась, а он совершил грех — и сладко-сладко его сердцу стало. И боязно, и тревожно. Почти так же боязно, как тогда, когда Лавря-казак бросил его, десятилетнего, в речку Вейку и сказал: «Хочешь жить — выплывешь...»

В муках, в тайной творческой работе отвык бы он от Лерки, она от него, в мире прибавилось бы одной несложившейся семьей и одним ребенком-безотцовщиной больше. Но тогда-то вот, после первого разбега, подстерегло его несчастье.

В Лерке не все было от мамы. Где-то, пусть и сбоку, пусть снаружи, к ребрам пусть, прилепились гены отца, а гены Сошнину всегда воображались разваренной лапшой из леспромхозовской столовки. В лапше той, опять же как мясо в столовском супе, жилка говьяжья с воробьиный помет величиной, оставленная борющимися со злоупотреблениями работниками пищеблока, путалось веками на Руси крепленое, всеми способами насаждаемое правило: не бросать человека в беде; и, пока есть на свете Маркелы Тихоновичи Чащины, правилу тому быть и нацию нашу крепить — Лерка выявила ошеломляющую самоотверженность: сперва потрясенно пялилась на мужа, потом хлопотала, роняя и разбивая что-то. Когда Гришуха Перетягин пришел ему ногу и Леонид проблевался, очухался настолько, чтоб хоть маленько что-то соображать, Лерка, прежде чем напоить его водой и бульоном, ультиматум ему: из милиции на творческую работу! «А кормить кто нас будет?» «Я! — без промедле-

ния гаркнула самоотверженная Лерка.— Я! Родители наши! Сиди возле своего любимого папаши и твори. Картошки от пуза, мясо, молоко есть, что еще писателю нужно?»

Он оценил ее жертвы и в себе обнаружил ответную способность прощать — неужто и впрямь несчастье сделалось лучшим средством самовоспитания? Он и она простили друг друга, помирились, но из милиции Леонид не ушел, отшутился, как всегда: мол, если все уйдут на другую работу, пусть даже и на творческую, «химики» и за киоски не станут прятаться, на свету, принародно станут с людей штаны снимать.

И вот снова крыша седьмого дома в железнодорожном поселке, назначенного к сносу, но, слава богу, забытого среди великомасштабных строек, укрыла молодого художника слова от дождей и бурь. В таких вот домах только и прятаться от бурь и от жен, эгоистично надеясь: не так скоро наступит пора, когда старую квартиру надо будет менять на новую и переселять в нее Лерку с дочерью, аннулируя хотя бы часть задолжности перед семьей.

В часы и дни, особенно смутные, читал он одну и ту же книжку, подаренную ему профессором Хохлаковым Николаем Михайловичем, читал, как библию, с любого места: протянул руку, достал с полки книгу, открыл и...

«Увы! Мои глаза лишились единственного света, дававшего им жизнь, у них остались одни лишь слезы, и я пользовалась ими для той единой цели, чтобы плакать не переставая, с тех пор, как я узнала, что вы решились, наконец, на разлуку, столь для меня не переносимую, что она в недолгий срок приведет меня к могиле».

«Во люди жили, а?» — почесал затылок Сошнин, когда первый раз читал эту книгу.

«Я противилась возвращению к жизни, которую должна потерять ради вас, раз я не могу сохранить ее для вас. Я тешила себя сознанием, что умираю от любви...»

Тут уж он перестал чесать затылок в задумчивости, и от озадаченности погладил сам себя по голове, и почувствовал, что письма монашки к своему возлюбленному втягивают его в какую-то уж чересчур непривычную, но в то же время чем-то манящую, томительно-сладкую муку. Он передернул плечами, стряхивая с себя наваждение вкрадчивой сказочки, настраиваясь внутренне сопротивляться ахинее, на которую покупался он в детстве... Но ныне-то... Он человек современный, грубошерстный, крепленный костью и жилами, работой в органах, отнюдь не смиренные, монашеские требы справляющих ночью и денно, он Урну в кутузку волочил, Демона обезвредил; пусть и неопытного, его писчебумажными штучками-дрючками не проймешь, он, пусть изначально, пусть чуть-чуть, но и секреты слова познал, соприкоснулся, так сказать, с...

«...Могу ли я быть хоть когда-нибудь свободной от страдания, пока я не увижу вас. Что же? Не это ли награда, которую вы даруете мне за то, что я люблю вас так нежно. Но, будь что будет, я решилась обожать вас всю жизнь и никогда ни с кем не видется, и я заверяю вас, что и вы хорошо поступите, если никого не полюбите... Прощайте. Любите меня всегда и заставте меня выстрадать еще больше мук».

Сдаваясь все покоряющей воле или произволу слова, наслаждаясь, вот именно наслаждаясь музыкой, созданной с помощью слова, такого наивного, такого незащитного, он полностью доверился этой детской болтовне и впервые, быть может, пусть и отдаленно, осознал, что словотворчество есть тайна.

Книжка состояла из пяти писем, дальше шли чьи-то дополнения, ответы на письма, подражания, стихотворные переложения, обширные комментарии. У него хватило ума не заглядывать в «зады» книги, не гасить в душе той музыки, которая не то чтобы ошеломила или обрадовала его, она подняла его над землей, над этим слишком грохочущим, слишком ревущим современным миром. Ему было не то чтобы стыдно, ему было неловко в себе, неудобно, тесно, что-то сдвинулось в нем с места, выперло вроде «гардероба», и куда ни сунься, непременно мыслью иль штанами за него зацепишься. Одна фраза трепетала, пульсировала, билась и билась жилкой на слабом детском виске: «Но как можете вы быть счастливы, если у вас благородное сердце?»

Бывшего «опера» порой охватывало подобие боязни или чего-то такого, что заставляло обмирать спиной, испуганно озираться, и во сне или наяву зрело твердое решение: найти, отыскать французика, покинувшего самую в мире замечательную женщину, по-милицейски, грубо взять его за шкуру, приволочь в монастырскую тихую келью и ткнуть носом в теплые колени женщины — цени, душа ветренная, то, по сравнению с чем все остальное в мире — пыль, хлам, дешевка...

Глава шестая

Светка — хлипкое современное дитя, подверженное простудам и аллергиям, — заболела с приходом холодов. В деревне, на дикой воле, не утесненное детсадовскими тетями и распорядками дня, укреплялось дитя физически и забывало застольные церемонии, рисунки, стишки, танцы. Дитя резвилось на улице, играло с собачонками, дралось с ребятишками, делалось толстомерное, пело бравую бабушкину песню: «Эй, комроты, даешь пулеметы! Даешь батарею, чтобы было веселее...»

И вот снова, к тихой радости деда, к бурному и бестолковому восторгу бабки, прибыла болезная внучка в село Полёвка. Молодой папуля, уставший за дорогу от вопросов дитяти, от дум и печалей

земных, да еще ногу натрудил крепко: автобус далее Починка не пошел — механизаторы во время уборочной совсем испортили дорогу в глухие деревни, никто туда не ездил да и не шел, по правде-то сказать. Когда Сошнин со Светкой шлепал по грязи меж редких домов, просевших хребтом крыш, по Полёвке, к рамам липли старушечьи лица, похожие на завядшие капустные листья: кто идет? Уж не комсомоавт ли с неба упал?

Поевши картошек с молоком, Сошнин, прежде чем забраться на печку — поспать и подаваться пехом в Починок, а из него в незабвенный Хайловск и потом на электричке домой, был вынужден выслушать все здешние новости и прочесть поданную тещей бумагу под названием «Заявление-акт»: «Товарищ милиционер, Сошнин Леонид Викентьевич! Как все нас — сирот спокинули и нет нам ни от кого никакой защиты, то прошу помощи. Вениамин Фомин вернулся из заключения в село Тугожилино и обложил пять деревень налогом, а меня, Арину Тимофеевну Тарыничеву, застрачал топором, ножом и всем вострым, заставил с им спать, по-научному — сожительствовать. Мне 50 (пятьдесят) годов, ему 27 (двадцать семь). Вот и посудите, каково мне, изработанной, в колхозе надсаженной, да у меня еще две козы и четыре овечки, да кошка и собака Рекс — всех напои, накорми. Он меня вынуждает написать об ём, что, как пришел он ко мне в дом, никакого дохода нет от него, одни расходы, живет на моем иждивеньё, на работу не стремится, мало, что пьет сам, на дороге чепляет товаришшев и поит. Со мной устраивает скандалы, страшает всяко и даже удавить. Я обряжаю колхозных телят, надо отдых, а он не дает покой, все пьянствует. Убирайте ево от меня, надоел хуже горькой редьки, везите куда угодно, хоть в ЛТПу, хоть обратно в колонию — он туда только и принадлежит. Раньше, до меня, так же дикасился, засудили ево за фулюганство, мать померла, жена скрылася, но все ли я еще скрывала — доскрывалася, хватит! Все кости и жилы больные, и сама с им больная, от греха недосуг пить-есть, а он ревнует, все преследует и презирает. А чево ревновать, когда кожа да кости и пятьдесят годов вдобавок. В колхозе роблю с пятнадцати годов. Всю ночь дикасится, лежит на кровати, бубнит чево-то, зубами скорочет, тюремские песни поет, свет зазря жгет. По четыре рубля с копейками за месяц за свет плачу. Государственную энергию не бережет, среди ночи вскочит, заорет нестатным голосом и за мной! По три-четыре раза за ночь бегу из дому, болтаюсь по деревне. Все спят. Куда притулиться. Захожу в квартиру и стою наготове, не раздевшись, — готовлюсь на убер. И об этом никто, даже суседи не знают, что у нас все ночи напролет такая распутная жизнь идет. И вас прошу меня не выдавать — еще зарубит. И примите меры, потихоньку увезите его подальше. Людоед он и кровопивец! Деревни грабит, жаншын забижает.

Надоумила к вам обратиться ваша мамаша, Евстолия Сергеевна

Чащина, дай ей бог здоровья, и писала под мою диктовку она — у меня руки трясутся и грамота мала».

Это был не первый и не единственный случай в обезлюдевших деревнях. Забравшийся в полупустые бабьи деревни бандюга обирал и терроризировал беспомощных селян. Принимались меры, забулдыг выселяли или снова садили в тюрьму, но на месте «павшего» являлся новый «герой», и пока-то дойдет до милиции такое вот «заявление-акт» или будет услышан бабий вопль, глядишь, убийство, пожар или грабеж.

Евстолия Сергеевна дополнительно к «акту» сообщила, что за рекой, в деревне Грибково, оставались еще две старушки и деревня светилась окошком, дышала живым дымом. В одной избе жила упрямая старуха, не желающая ехать к детям в город. В соседней избе доживала век одинокая с войны вдова. На зиму старушки сбегались в одну избу, чтобы меньше жечь дров и веселее коротать время. По заказу местной хайловской промартели старушки плели кружева, и возьми да и скажи в починковском магазине, прилюдно, та старуха, которая в войну овдовела: теперь, мол, у нее душа на месте, на кружевах заработала копейку — на смертный день и отойдет когда, так не в тягость людям и казне будет.

Прослышал Венька Фомин про старухины капиталы, переплыл в лодке через реку, затемно вломился в избушку, нож к горлу старухи приставил: «Гроши! Запорю!» Старуха не дает деньги. Грабитель ей полотенце на голову завязал и давай его палкой закручивать, голову сдавливать, научился уму-разуму в колонии-то. У старухи носом кровь, но она тайны не выдает. Да Венька-то — местный вражина, трудно ли ему догадаться, где может храниться капитал. Сунулся за божницу, там, за иконами, и есть он, капитал-то, сто шестьдесят рубликов.

Неделю Венька Фомин пировал и диковал с друзьями-приятелями. Старушка вдова собрала узелок, взяла батожок и подалась добровольно в хайловский дом престарелых — доживать век на казенном месте, где и быть ей похороненной на казенный счет, под казенной сиротской пирамидкой.

По пути на Хайловск стояло село Тугожилино, на холме, за ольховым ручьем, летом часто пересыхающим. Много изб в Тугожилине обвалилось, стояло заколоченными, и лишь возле телятника еще копошилась жизнь, материлась пастух, рычал трактор, суетились две-три до сухой плоти выветренные бабенки, неотличимые друг от друга. Сошнин думал заскочить в Тугожилино накоротке, найти наглого разбойника, пригнать его или забрать с собой и сдать в хайловское отделение. Но пришлось ему встретиться с Вениамином Фоминым в совсем не запланированные сроки.

Только Леонид разоспался, как тесть, Маркел Тихонович, бережно подергал его за рукав и, дождавшись, когда зять очнется от сна, сказал, что в Тугожилине Венька Фомин загнал в телятник баб, запер их на заворину и грозитя сжечь вместе с телятами, если они немедленно не выдадут ему десять рублей на опохмелю.

— А, ч-черт! — ругнулся Сошнин. — Нигде покоя нету. — Надел изношенную, на ветрах, дождя и рыбалках корженную шапчонку, старое демисезонное пальто — в свободное от работы время он всегда «залазил» в гражданское — и на пробористом ветру, в мозглой стыни и сыри почувствовал себя так одиноко, заброшенно, что и приостановился словно бы в нерешительности или в раздумье, но трякнул головой и глубже, почти на уши, натянул шапчонку. Маркел Тихонович, провожавший его из Полёвки со Светкой до грейдера по грязному, разжувляканному выезду, угадав подавленное состояние зятя, предложил «мушшынскую помощь» — Сошнин отмахнулся от Маркела Тихоновича, приподнял дочку, ткнулся губами в ее мокрую щеку. — Возвращайтесь в тепло. — И пошлепал по жидкой грязи, закрываясь куцом воротником пальто от секущего дождя, в котором нет-нет и просекалась искра снега. Дремля на ходу, он свернул на короткую дорогу, через поля и перелесок, спугивая с неряшливого и лохматого жнивья, по которому россыпью и ворохами разбросано зерно, отяжелевших ворон, диких голубей, стремительными стаями врзающихся в голые перелески. Прела стерня, прел недокошенный хлеб, будто болячки по больному телу пашни, разбросанные комбайнами гнили кучи соломы, по рыжим глинистым склонам речки, ожившей от осенней мокроты, маячили неубранные бабки льна, местами уже уроненные ветром и снесенные речкой в перекааты, и там, перемешанные с подмытыми ольхами, лесным хламьем и ломом, превращались в запруды.

Воронье, тяжело громоздящееся на гнущихся вершинах елей, на жердях остожий, черно рассыпавшееся на речном хламе и камешниках, провожало человека досадливым, сытым ворчанием: «И чего шляются? Чего не спится? Мешают жить...» Голые, зябкие ольховники, ивняк по обочинам плешивых полей, по холодом реющей речке, драное лоскутье редких, с осени оставшихся листьев на чаще и продранной шараге, телята, выгнанные на холод, на подкормку, чтобы экономился фураж, просевшие до колен меж кочек в болотину, каменно опустившие головы, недвижные среди остывших полей, кусты мокрого вереса на взгорках, напоминающие потерявших чего-то и уже уставших от поиска согбенных людей, — все-все было полно унылой осенней одинокости, вечной земной покорности долготу непогоды и холодной, пустой поре.

Возле тугожилинского телятника в заветрии, под стеной, под низко сползшей крышей, бабенки, большей частью старухи, жались спинами к щелястым, прелым, но все еще теплым бревнам. Завидев Сошнина, они встрепенулись, загалдели все разом: «Злодей! Злодей! Нет на него

управы. Вечный лагерник и бродяга... Мать со свету свет... Он с детства зкий...»

Сошнин заметил на крыше телятника сорванный лист шифера, сбросил с себя пальтишко, пиджак и, оставшись в фиолетовой водолазке, пижонски обтянувшей его от безделицы полнеющую фигуру, подпрыгнул, ухватился за низкую слегу телятника, взобрался на крышу, перебираясь рукой по решетиннику, спустился на потолок из круглого жердя, отодвинул пяток отесанных и загнанных в паз прогнутой матицы жердин, спрыгнул в помещение с едва теплящимися в проходе под потолком желтыми электролампочками, спрыгнул неловко, ударился больной ногой о выбоину в половице, присел на скользкую жижу, запачкал брюки.

На темном полу, искрошенном в труху на стыках, в выдавленной из щелей никотинно светящейся жиже, стояли и тупо глядели на пришельца несколько больных телят, не мычали, корма не просили, лишь утробно кашляли, и казалось, само глухое, полутемное пространство скотника выкашливало из себя в сырую пустоту пустой же вздох без стопа, без муки. Ни к чему и ни к кому эти старчески хрипящие животные не проявляли никакого интереса, лишь вдали, где-то в заглушь, подал вялый голос теленок и тут же смолк в безнадежности, послышался едва слышный хруст, будто короед начал работать в бревне, под заболонью: теленок, догадался Сошнин по изгрызаным жердям перегородок, кормушек и стен, грыз прелое дерево скотника. Еще один теленок, сронив жердочку, вышел из размиканного в грязь загончика, лежал на склизкой тесине, а другой теленок, свесившись через перегородку, сосал или жевал его ухо, пустив густую длинную слюну.

По скользкому коридору, с боков которого, словно на бруствере окопа, нагребен был навоз, Сошнин прошел в кормовой цех, отпер закрытых там, насмерть перепуганных женщин. Они завывали в голос и, обгоняя друг дружку, бросились из телятника в противоположную, приоткрытую дверь, возле которой на стоге свежепашущего сена, утром привезенного на березовых волокушах с лесной деляны, безмятежно спал Венька Фомин.

Сошнин стянул его с сена, грубо потряс за отвороты телогрейки. Венька Фомин долго на него пялился, моргая, утирал рот рукой, не понимая, где он, что с ним.

— Ты ково?

— Я чево. Вот ты ково?

— Я тя спрашиваю: ты ково?

— Пойдем за ворота, там женщины тебе объяснят, ково и чево.

— Турист, пала! — взревел Фомин Венька и выхватил из сена вилы с ломаным черенком. Вилы древние, ржавые, о двух рожках, толсто обляпанных навозом, и среди них рыжие пеньки еще двух обкрошенных, словно выболевших, стариковских зубьев.

«Ох, уж эта обезмужичевшая деревня! Все в ней не живет, а доживает...»

— Запорю, пала! — Венька пошел на Сошнина, держа вилы наперевес, словно пехотинец с винтовкой в бою.

— Брось вилы, мерзавец! — Сошнин двинулся навстречу Веньке Фомину, чем весьма его озадачил.

— Не подходи, пала, запорю! Не подходи! — заполошно визжал Венька Фомин, пятясь к задним полуоткрытым воротам телятника, чтоб, бросив вилы, ушмыгнуть в притвор, скрыться в родных полях и перелесках.

Сошнин отсек злодею путь к отступлению, прижимая его в угол. Венька Фомин был телом и лицом испитой, в ранних глубоких морщинах, подглазья — что голые мышата с лапками, пена хинным порошком насохла в углах растрескавшихся губ. Большой, в общем-то уже пропащий и жалкий человек. Но пакостный, зло пакостный, и от него можно ждать чего угодно.

— Брось вилы! — рявкнул Сошнин и подпрыгнул к Веньке Фомину, держа руку наперехват.

Венька Фомин, прижавшись спиной к стене, поднял вилы, как бы загордившись ими. И тут бы свалил его подсечкой Сошнин, отнял бы вилы, дал по шее разок — за всех обиженных и угнетенных и повел бы в Починок, на автобус, да возле ворот нарывом наплыла навозная жижа, припорошенная сеной трухой. Привыкший к твердой, опористой обуви — яловым сапогам, к двум твердым, пружинистым ногам, Сошнин в узконосых ботинках поскользнулся хромой ногой, неловко упал на руку — и сработала, сработала подлая натура преступника — бить лежачего. Венька Фомин коротко ткнул вилами. Сошнин мгновенно ушел от удара в грудь, но вилы все же достали его, и ржавый рожок как бы нехотя, с хрустом вошел в живое тело, в плечо, под сустав. Венька Фомин, по-шакальи оскалившись, надавил на вилы, приколоч Сошнина к коричневой, гнилой плахе.

Рывком вскочив, Сошнин схватился за обломыш черенка вил, пытаясь их выдернуть. Боль пронзила его, овязала.

— Говорил, не лезь, пала! Говорил, не лезь... — вжимался в угол перепуганный Венька Фомин, вытирая разом вспотевшие лицо и губы запястьем руки. Высохшая пена крошилась, опадала перхотью с треснувших губ, застревала в реденькой, беспородной щетине Веньки Фомина.

— Вытащи вилы, гад! — с отчаянием закричал Сошнин.

Дальше все свершалось в заторможенном удалении. Венька Фомин несколькими малосильными рывками, молниями рассекавшими голову Сошнина, выдернул вилы, и Леонид увидел на ржавом зубце густки крови, нечистые густки на нечистом, словно пластилином облепленном, зубце, пошатнулся, зажал рукой брызнувшую кровь,

уперся лбом в стену, пахнущую мочой и тошнотворным силосом. Малость отдышавшись, он достал носовой платок, сунул его под водолазку, натянул на платок лямку майки. Мгновенно пропитавшийся кровью платок скользко понесло с плеча на живот.

— Давай платок! — не глядя, вытянул Сошнин руку. Венька Фомин сунул ему затасканный, серый комочек. — Что ж ты наделал, скотина! — простонал Сошнин, бросая грязную тряпицу в плаксиво-угодливую морду Веньки Фомина, и кинулся на свет, зажимая рану.

Бабы-скотницы увидели уже далеко за телятником бегущих друг за другом по грязи Сошнина и Веньку Фомина, подумали, что бандюга гонится за человеком, чтобы его зарезать, завывли в голос. Надо было вернуться к телятнику, надеть пиджак, пальто, надо было бежать в Полёвку, просить Маркела Тихоновича запрячь лошадь. Но лошадь может оказаться в лесу или на силосных ямах, а то и на жнивье пасется, начнут всем полёвским народом причитать, ловить, запрягать, потеряется дуга или хомут, у телеги вывалится ступица, колесо спадет среди грязи с оси, завязнут на выезде или среди проселка. У Маркела Тихоновича «к груди подопрет», сама Чашиха, как всегда, выступать примется, отыскивая врагов, Светку перепугают и, чего доброго, с собой возьмут...

Не только носовой платок, но и майка кисельным, липким сгустком сползла к поясу. Кровь пропитала водолазку, ожгла бедро, зачавкала в левом ботинке. У раненого начали обсыхать губы, во рту появился привкус железа. «Так быстро! Худо мое дело...»

— Помогай! — сорванно прохрипел Сошнин.

Венька Фомин суетливо подставился, захлестнул руку Сошнина на своей тощей шее — видел в кино или на фотографиях недоумок, как выносят раненых с поля боя.

— О-о-ой, пала, попался-а... Опять попался! — выл он. — Так от тюраги, видно, мне никуда и не уйтить! Доля моя, пала, пропащая... — С Веньки Фомина катился слабосильный пот. В немощных грязных струях пота дрожала сенная труха, и, когда касалась губ, он слизывал грязную смесь и, забыв ее сплюнуть, глотал, продолжая выть и причитать.

Ноги Сошнина слабели, свет серел, шевелился, плыл рыбьей слизью перед глазами. Его мутило от запаха Венькиного грязного пота, от дури назьма, от горькости сена, душило скипидарной остротой телячьей мочи или человечесьей — разбойник Венька Фомин, жравший всякую всячину вплоть до разведенного гуталина и пудры, давно сжег почки и ходил в прелых портках. Запахи не слабели, не рассасывались на холодном ветру, а, наоборот, все плотнее окружали Леонида, клубились над ним и в нем, поднимая из разложья груди поток рвоты.

На дверях починковского медпункта висел древний амбарный замок. Воскресенье. Злодей и пострадавший постояли в обнимку перед

дверью, прерывисто дыша, обреченно глядя на замок. Венька усадил Сошнина на крылечко, прислонил к стене, заботливо набросил на него свою псиной пропахшую телогрейку.

— Я чичас... чичас, чичас... Я ее, палу, с-под земли достану! С-под егеря вытащу, коли он на ей охотничат... Чичас, чичас...

Никто на фельшерицу не охотился, она ни на кого не охотилась, в годах уже была и, как положено равноправной женщине, в услуду использовала воскресный день — стирала, мыла, прибиралась. И в медпункте у нее был полный порядок, и лекарства необходимые были: йод, бинты, вата, даже спирта пузыречек не выпит. И сама фельшерица чиста, обиходна, хоть заметку про нее пиши в газету. Хвалебную. Вот выздоровеет и напишет! — этот вялый проблеск юмора последний раз посетил в тот день всегда склонную к иронии, последнее время — самоиронии, творчески настроенную голову иль душу Сошнина.

Фельдшерица, сноровисто и ловко перевязывавшая Сошнина, мигом сняла с него склонность к легкому настроению, которым пострадавший пытался подавить в себе страх, слабо надеясь, что положение его не столь уж и опасно, чтоб впадать в панику.

— Ой, какая грязная рана! Пузырится... кровь пузырится... Плевра задета. Кто это вас? Неужто ты, недоносок?! — воззрилась фельдшерица на Веньку Фомина, измученно отдыхивающегося на пороге медпункта и «впритырку» — преступник же! Штатный уже! — покуривающего в рукав. — Милиционера! При исполнении!.. Будет тебе, будет! — И помогла лечь Сошнину на топчан, прикрыла его, ознобно дрожащего, простынею, половичком и сверху своим давно из моды вышедшим болоньевым плащиком.

— Он че, милиционер?!

— А ты не знал! — держа руку поверх одежонок, чуть прихлопывая раненого, точно ребенка, со злой неприязнью сказала фельдшерица.

— Да откуль?

— Зять Чащиных, с Полёвки.

— Ой, пала! — взвыл Венька. — Че его в Тугожилино-то принесло? Дуба даст... К стенке ж...

— Такому давно к стенке пора. Выдь на улку курить, часотошный.

Из хайловской больницы ответили — нет бензина, да и воскресенье, да и вообще в сельскую местность они не обязаны посылать машины «скорой помощи». «Надо, так везите больного на своем транспорте».

Хайловск говорил с сельским фельдшером надменным голосом столицы. Сошнин подтянул к себе телефон, позвонил на квартиру начальника райотдела Алексея Демидовича Ахлюстина, попросил помочь бензином и приказать «скорой» доставить его в областную больницу.

- Рана опасная, Ляня?
- Кажется, опасная, Алексей Демидович.
- Всех на ноги подыму!

Ахлюстин примчался на машине «скорой помощи» и, увидев Веньку Фомина, затрясся от гнева:

— Сморчок ты, сморчок! Пакость ты, пакость! Зачем же ты на свето явился? Изводить полноценный народ! Ах, алкаши вы, алкаши, погубите вы державу...

Сошнина поместили в салоне машины на носилках. Фельдшерница накрыла раненого одеялом, принесенным из дома, села в голове его. В эту же машину намерились было втолкнуть и Веньку Фомина, чтоб сразу его сдать в СИЗО — областной следственный изолятор.

— Гражданин начальник! Гражданин начальник! — взмолился Венька Фомин, упираясь руками в раскрытую машину. — Додушит дорогой! Он может... Он почти без памяти...

— Говорю — мразь! Эко дрожит, пашенок, за свою жизненку. Ну, Ляня! — отчески погладил по груди Сошнина Алексей Демидович. — Крепись, Ляня. — И развел руками по-стариковски несуразно и картинно. Понял это, набычился, отвернулся, избегая обычных философских изречений, — так они тут были неуместны.

Совсем уж было тронулись, как вдруг, разбрызгивая грязь, примчался на мотоцикле всадник в очках, в горбатом комбинезоне, на ходу, считай что, спрыгнул с мотоцикла, заскочил в машину «скорой помощи», причитая голосом Паши Силаковой:

— Ляня! Леонид Викентьевич! Да что же это такое?! А-ах, ты, паскуда! А-ах, ты, вонявка!.. Да я тя! — бросилась она на Веньку Фомина, свалила злодея в грязь, села на него верхом и принялась волтузить.

Алексей Демидович едва отнял Веньку Фомина и, волоча его, смятого, грязью обляпанного, к сельсовету, махнул рукой — поезжайте, мол, поезжайте. Паша Силакова все налетала сзади и отвешивала Веньке Фомину пинкарей здоровенными сапогами. И с сапог или от зада волочимого злодея, будто в замедленном кино, летели ошметки грязи и назма. Венька Фомин, как дитя от родительского ремешка, пытался прикрыть зад ладонями.

— Да поезжайте же!.. — простонал Леонид.

Виктор Петрович АСТАФЬЕВ

ПЕЧАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ

Редактор Д. К. Иванов

Технический редактор О.Н. Ласточкина

Сдано в набор 17.03.86. Подписано к печати 26.05.86. А 00689. Формат 70×108¹/₃₂. Бумага газетная. Гарнитура «Школьная». Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,80. Учетно-изд. л. 4,18. Усл. кр.-отт. 2,98. Тираж 80 000 экз. Изд. № 1370. Зак. № 2629. Цена 25 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

ПРОКАТ – ДЕТЯМ

**● САЛОНЫ И ПУНКТЫ ПРОКАТА
ПРЕДЛАГАЮТ НА ЛЮБОЙ СРОК**

коляски, кровати, детские
велосипеды, лыжи и коньки
с ботинками.

Росбытреклама